ОЛЕГ БЕЛОУСОВ

МОЙ ГОРОД

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Олег Павлович Белоусов (1945-2009) - режиссер-аниматор, сценарист, писатель. В книге "Это мой город" он рассказывает о Минске послевоенных десятилетий, делится уникальной информацией о родном городе. Эти главы были размещены на сайте http://belousovart.com, который, к сожалению, прекратил свое существование после смерти автора. В бумажную книгу помимо публикуемой здесь мемуарной части вошли также воспоминания Олега Белоусова о его друзьях и коллегах.

-
- ГЛАВА 1
- ГЛАВА 2
- ГЛАВА 3
- ГЛАВА 4
- ГЛАВА 5
- ГЛАВА 6
- ГЛАВА 7
- ГЛАВА 8
- ГЛАВА 9
- ГЛАВА 10
- ГЛАВА 11
- ГЛАВА 12
- ГЛАВА 13
- ГЛАВА 14
- ГЛАВА 15
- ГЛАВА 16
- ГЛАВА 17
- ГЛАВА 18
- ГЛАВА 19
- ГЛАВА 20
- ГЛАВА 21
- ГЛАВА 22
- ГЛАВА 23
- ГЛАВА 24
- ГЛАВА 25
- ГЛАВА 26
- ГЛАВА 27
- ГЛАВА 28
- ГЛАВА 29
- ГЛАВА 30
- ГЛАВА 31

- ГЛАВА 32
- ГЛАВА 33
- ГЛАВА 34
- ГЛАВА 35
- ГЛАВА 36
- ГЛАВА 37
- ГЛАВА 38
- ГЛАВА 39
- ГЛАВА 40

Олег Белоусов
Это мой город

ГЛАВА 1

Эти слова вырвались у меня совершенно случайно в одной из передач «В баре «У Олега»…

Вырвались и запомнились…

Я стал размышлять – насколько нахально с моей стороны подобное заявление, и понял – нисколько!..

Этот город и в самом деле мой. Мой – ровно настолько, насколько и Ваш – каждого, кто родился здесь, вырос, прожил жизнь, обрёл друзей, семью, похоронил родных…

И всё-таки, в чём то он только мой… Потому что жизнь и память у каждого своя…

Я обрёл себя в этом городе на улице Красноармейской в бараке, в котором папе дали комнату в 16 квадратных метров, из которой он сделал четырех комнатную квартиру. В ней, в разное время, хорошо пожили все наши родственники – мамина Слуцкая родня – дядя Коля, которому отшибло ногу под Кенигсбергом и, проторговавшийся в Слуцке, он вынужден был сбежать в Минск, и тётя Галя, которая, вернувшись из немецкого плена, привезла с собой мужа сибиряка-сапёра Афанаса, и Валентин – шелапут, проигравший в Слуцке отцовский дом в карты, и Виктор – умница, доктор экономических наук, директор НИИ, мой самый любимый и самый близкий дядя…

Живала в этой «квартире» и вся папина родня… Первой приехала тётя Катя с мужем Василём, тоже безногим фронтовиком. Приехала из Ташкента, в который она была выслана после лагеря, потом из Сталинграда, после окончания Сталинградского политехнического, приехала младшая папина сестра тётя Маша с мужем Николаем – тоже фронтовиком-инвалидом…

Не жил в нашей «квартире» на Красноармейской только один мамин брат – Аркадий – он унаследовал «батьковщину», дедушкин дом в Слуцке.

Из всех старших родственников в живых остались только тётя Маша, полсотни лет преподававшая начерталку в политехническом, да тётя Галя, которая за полученную от немцев компенсацию, открыла коммерческий ларёк, с доходов от которого и живёт худо-бедно…

По семейным преданиям, я знаю, что был зачат в каком то подвале в Будапеште, ближе к концу войны, когда мама и папа прошедшие вместе от Москвы до Австрии, поняли, что скорее всего останутся живы и поэтому мама, старший лейтенант медицинской службы, не стала делать очередной аборт и четыре

месяца до Победы, когда её дембельнули в виду явной беременности, вынашивала меня тайно во фронтовом медсанбате…

Вообще, фронтовая история родителей – семнадцатилетней девочки и тридцатилетнего недоучившегося студента Академии художеств, старшины разведроты, оттянувшего до войны шесть лет лагерей и отправившегося, имея “бронь”, на фронт замаливать неведомые грехи перед родиной – отдельная песня, к которой, вольно или невольно, я буду постоянно возвращаться в этих заметках, поскольку без неё и вне её, многое в моей жизни будет совершенно непонятно.

…На Красноармейской был, как мне казалось, огромный двор (скорее всего пустырь), несколько бараков, двухэтажный каменный дом, в котором жили офицеры и специалисты, сараи и огороды…

Огороды тогда были, по-моему, у всех, поскольку без этих нескольких грядок на душу послевоенного населения выжить было немыслимо. Выжить вообще было немыслимо…

Папа, протолкавшись около года в большой маминой слуцкой семье Бугаревичей, попробовав перехватить у деда Спиридона сапожный бизнес, попробовав писать портреты, вернувшихся из эвакуации богатых слуцких евреев, попробовав поискать шанс на “ридной неньке” Украине и поняв, что всех, кто сидел до войны, не взирая на ордена и заслуги, метут по новой, спрятался в разбитом Минске. Шатался по пивным, в надежде найти работу, которую и нашёл встретив в пивной полковника Алфимова, большого начальника военной строительной конторы, который там же в пивной, узнав, что тощий и не пьянеющий старшина-разведчик до войны закончил два курса скульптурного факультета Ленинградской Академии художеств, назначил его ни много ни мало – главным скульптором Белорусского военного округа. Эта работа позволила перевезти маму из Слуцка, дала ей возможность поступить в медицинский институт, получить знаменитую “квартиру” в бараке, несколько грядок, дровяной сарай и, в конце концов, натурализовать меня в Минске, заложив ещё в младенчестве ощущение, что я хозяин этого города…

Заложить это ощущение не составляло никакого труда, поскольку все мы, послевоенные подшиванцы, это чувство воспринимали естественно – ни яслей, ни детских садиков не было в помине – улица была нашим воспитателем, первым учителем, старшим другом, а город был ограничен с одной стороны крутым берегом Свислочи, в которой мы летом купались, по льду которой зимой катались на гнутых из стального прута “козах” , а весной лакомились корешками зеленеющего в затоках

аира, с другой стороны – частными домами улицы Лодочной, где были сады и огороды не чета нашим… С середины лета, когда созревал лук и до поздней осени, когда вызревали яблоки – нашим основным занятием, геройством и болью были набеги на эти огороды и сады… Там же на Лодочной происходили и основные драки… “Лодочные” пацаны строго охраняли зону своего влияния и простая прогулка по их территории была довольно рисковым мероприятием…

Господи, какой она казалась далёкой – Лодочная… Почти другой конец города!..

Мама, как боевой офицер-фронтовик имела право без экзаменов поступить в институт. И для начала поступила в Университет на журналистику. Однако через несколько месяцев сообразила, что это не для неё и отнесла документы в медицинский.

Я и сегодня не понимаю, как ей удалось его закончить. До сих пор помню как гремит наше главное богатство – трофейная зингеровская швейная машинка с ножным приводом. Мама по ночам шила платья, которые мы днём с тётей Катей продавали на базаре, который находился в конце Красноармейской, и на котором в обмен на платья, по коммерческой цене можно было купить хлеб, молоко, картошку, квашеную капусту – основной рацион минчан…

Зингеровскую машинку, кстати, мама решилась продать, когда я заканчивал Университет (факультет журналистики, кстати). Папа за памятник Ленину в Бобруйске получил большие деньги и мама устроила сногсшибательный ремонт в нашей квартире на Московской, где мы жили с 1950 года, выбросила всю старую мебель – железную супружескую кровать с панцирной сеткой, побитую осколками, самодельный буфет, смастерённый знакомым столяром, бамбуковые этажерки, кадки, в которых росли фикусы и огромная китайская роза и на их место поставив безумно модные “хельги” и полированные шкафы из ДСП. Тогда же решилась судьба швейной машинки. Мне было поручено свезти её в мебельную комиссионку, что я и сделал, сообразив, что пару рублей с этой трансакции совершенно запросто будет зажилить.

Увы!.. Бывшая и, пожалуй, сегодняшняя неслыханная ценность – трофейная швейная машинка с золотыми буквами “Singer” в те времена не представляла никакой ценности и в комиссионку её не приняли, не удалось мне её сменжевать и частным образом… Я плюнул и оставил её в магазине бесхозной…

Когда сказал об этом маме – она заплакала…

Почему заплакала я понимаю только сейчас…

ГЛАВА 2

В 1971 году, когда я вступил в первый из моей коллекции творческих Союзов – членом которых я являюсь – Союз художников, мы с папой вдвоём были делегатами Съезда. Съезд художников проходил в клубе Дзержинского. Папа сидел в кресле и всё время поглядывал на потолок…

Потом, неожиданно сказал,–

– Никогда не думал, что он провисит так долго…

В те времена, когда мы жили на Красноармейской и папа «работал у военных» главным скульптором Белорусского военного округа признаком хорошего вкуса считалось украшать фасады и интерьеры зданий богатой лепниной. Вот этим он как раз и занимался, возглавляя «бригаду-гоп», в которую входили все наши родичи – эдакий семейный подряд. Понятия о том, как делается вся эта подвесная красота никто не знал. Папа рассказывал, что только через пару лет он сообразил, что все подвесные украшения можно «вытягивать» с помощью шаблонов, а до того всё лепил вручную и клуб Дзержинского был одним из первых его объектов.

Рассказывал о том, как однажды в актовый зал, в котором он со своей семейной бригадой присобачивал к потолку лепнину вошёл Цинава. Маленького роста, пучеглазый он долго стоял, вертя головой, потом спросил, сколько папа зарабатывает. Услыхав ответ, фыркнул и заявил, что скульптор получает больше чем он – Министр госбезопасности, но, тем не менее, зауважав, позвал в свой кабинет, чтобы похвастаться своими красотами… Как всегда, объекты повышенной ответственности, в данном случае кабинет министра, оформляли не местные, а московские спецы, к тому же, видимо, не гражданские, хотя и в штатском…

По папиному рассказу кабинет Цинавы был ужасен – огромные розетки с цветами и фруктами, Купидоны и т.д., и т.п.

– Ну, как!?.. – спросил Цинава.

Папа возьми и ляпни,–

– Для борделя в самый раз!..

Цинава набычился, но сказал,–

– Ладна, иды…

Неделю в нашей четырёх комнатной квартире стояло гнетущее ожидание чего-то ужасного…

Потом как-то отлегло…

Рассказывают, что в тот же день страшный министр МГБ приказал содрать всех Купидонов, но папу почему-то не тронул…

Меня, как и всех пацанов того времени, взрослые не очень-то

посвящали в то, что хорошо знали и понимали сами – вольные разговоры не велись, некоторые темы не обсуждались даже шёпотом, на кухне… Даже в постели… Если бы они случались, наверняка я бы что-то услыхал, моя кроватка стояла через ширму от побитой осколками железной кровати родителей и по ночам я слыхал много чего не предназначенного для ушей маленького мальчика…

Впервые я столкнулся с тем, что не всё в порядке в «датском королевстве» только в 1953 году, когда умер Сталин…

Мы уже два года жили в новой квартире на Московской, я учился во втором классе 1 школы, которая и сейчас расположена на улице Чкалова…

Помню, как билась в истерике наша учительница Нина Георгиевна, как испуганно и безнадёжно молчал класс… Помню, как ревели гудки всех заводов и словно чёрные свечи стояли замершие на улицах люди…

В простенке между окон, что бы не было видно с улицы, папа и мама, держась за руки, глядели друг на друга какими то совершенно сияющими глазами…

Такими глазами, что я, мерзавец, подумал: «Наверно мои папа и мама враги народа… Как можно улыбаться, когда умер Вождь»…

Помню, появилась даже мысль, а не следует ли рассказать об этом учительнице.

Слава Богу, школа несколько дней не работала, а потом эта, мелькнувшая в детской головке мысль, как то сама собой забылась, чтобы во всей своей обжигающей явственности всплыть на много позже – совсем в другие времена…

– А, ведь я был готов заложить папу и маму!..

Но вернёмся в наш двор на Красноармейской…

Был у меня там дружок – Вовуська… Потом он стал кандидатом наук, мастером спорта по стрельбе из пистолета, чемпионом Спартакиады и ещё чего-то Владимиром Фесько… Тогда же – просто Вовуська… Он был постарше и повыше меня и у него в доме была страшная тайна – под родительской кроватью лежала настоящая боевая шашка. С каким замиранием сердца, в отсутствие его родителей, забирались мы под кровать, доставали это стальное, матово поблескивающее чудо, с перетянутой витой проволокой кожаной рукоятью, с темляком, который заканчивался неописуемой висюлькой с бахромой, чёрными ножнами, в которые сабля не вкладывалась, а, словно, всасывалась и, из которых выпрыгивала с мягким металлическим шелестом…

Как мы не повыкалывали себе глаза, не поотрубали руки-

ноги, носы и уши, когда играли в войнушку, гоняя по коридору и комнатам того, кому в очередь выпадало быть фашистом?..

По-моему, именно за эти игры с саблей я был впервые безжалостно выдран отцом, который лупил меня раза два в жизни, из-за чего потом искренне горевал, просил прощения и вообще переживал немыслимо…

Там же, уж не помню у кого, в сарае стоял трофейный мотоцикл, который мы почему-то называли «харлеем» и, который иногда, опять таки в отсутствие родителей взломав сарай, а попросту выдернув скобу, выкатывали ребята постарше и позволяли нам, мелюзге гурьбой толкать его по двору, а сами рулили, взгромоздившись на кожаное обширное сиденье…

Вообще та жизнь была наполнена событиями таинственными…

Однажды прошёл слух, что милиция накрыла бандитский притон, который находился в выкопанной уркаганами в обрывистом берегу землянке. Мы рассказывали друг другу о том, что воры в этой землянке по ночам дербанили награбленное, пили водку и «использовали» женщин…

Мы нашли эту землянку и пробирались в неё, опустевшую и обвалившуюся, чтобы насладиться ужасом и пряным ощущением порока…

Однажды у наших соседей взломали и ограбили сарай и это тоже родило тьму слухов и домыслов – зачем нужно было ломать замок у соседей, когда рядом были наши закрытые на гвоздик сараи, в которых, так же как и у ограбленных ничего кроме дров не хранилось…

Ого!.. Всё наверно не так просто, наверняка там под дровами пряталось ворованное богатство… Забавно, взломщики, вероятно, думали так же – иначе чего бы им лезть в запертый на замок сарай, вместо того, чтобы просто открыть дверь в нашем.

Но самая загадочная и трагическая история случилась с козочкой, которую мы с тётей Катей выменяли на базаре за три сшитых мамой по ночам платья, выменяли, забыв про хлеб и молоко. Она была совершенно никчемная молоденькая, немыслимо красивая, удивительно ласковая и белая…

Спасибо тёте Кате – она поняла мою детскую, неожиданную любовь к этой несчастной козочке и рискнула многим – мама была девушкой крутой…

Козочка жила у нас с неделю – потом исчезла…

Мне дурили голову, рассказывая, что она забралась в сарае за поленицу дров и я долго-долго ходил к задней дощатой стене сарая слушать, не заблеет ли там моя любимица…

Она не блеяла…

Очень надеюсь, что тётя Катя ухитрилась её продать, и мы её не съели…

Однако и эта боль забылась, прошла.

Умение забывать – неоценимый дар от Господа!

Равно, как и умение помнить!..

ГЛАВА 3

Со временем границы города стали постепенно расширяться, открывая новые горизонты…

Вначале в городе появилась папина мастерская… Нужно сказать, что постоянной мастерской у него не было ещё долго. Было много временных – на объектах – на педкорпусе (в строящемся пединституте, для которого папа лепил бюст Ушинского), потом в аэропорту – эта была довольно долго и именно с ней связана одна история, которая произошла уже в новой квартире на Московской…

Антиобледенители на самолётах в то время работали используя чистейший медицинский спирт. И естественно спирта у нас в доме было хоть залейся. Постоянно стояла огромная двадцатилитровая бутыль, которая закрывалась тяжёлой резиновой пробкой. Как водится на халявный спирт постоянно собиралась шумная компания молодых скульпторов. Постоянные пьянки маму достали и однажды, при всей честной компании она спустила в унитаз 20 литров спирта. Два дня в доме была напряжёнка и тяжёлое молчание. Потом рассосалось, спирта больше в доме не было, но запах папиной мастерской, запах мокрой глины, дерева, гипса – запах мастерской скульптора остался со мной навсегда. И сейчас, когда я вижу папу во сне, я чувствую этот запах въевшийся в каждую пору его тела…

Потом город и моё мировоззрение обогатились ещё одним понятием – «творческая работа»…

Это слово произносилось очень уважительно по вечерам, когда папа поздно не возвращался домой.

Мама говорила:

– У папы творческая работа!..

Что это такое я не понимал до тех пор, пока мы не пошли смотреть эту самую творческую работу.

Мама надела своё лучшее платье, немыслимую велюровую шляпку с букетом, папа – галстук и мы пошли в кинотеатр Дома офицеров, в котором на подиуме у входа в кинозал стояла папина скульптура «Партизан на допросе».

Гордо выставив вперёд ногу, со связанными за спиной руками, в распущенной рубахе и в кубанке партизан был исполнен достоинства и презрения к оккупантам.

Именно эту работу папа и лепил по ночам.

Я был безумно горд, что папина «творческая работа» стоит в самом популярном по тем временам месте Минска в фойе кинотеатра Дома офицеров.

Город стал расширяться с появлением в нашем доме новых людей. Это были молодые скульпторы – прошедшие войну и закончившие какие-то специальные учебные заведения, или успевшие завершить образование, прерванное войной.

Сегодня я понимаю, что толклись они в нашем доме по одной простой причине – мы имели квартиру – какую ни какую, а всё таки квартиру – все остальные и дядя Вася Полийчук, и братья Марик и Лёва Роберманы и Андрей Заспицкий были холостяками, ютились по углам и мамино хлебосольство (в данном случае уместней было бы сказать «бульбосольство») было для них спасительной отдушиной в том немыслимо нищем и голодном быту.

Самым весёлым был дядя Вася…

Он умел, ухватив меня за руки просунутые между ног, как то совершенно невообразимо перевернуть в воздухе и поставить на ноги. Это было почти чудо и завидев его я нёсся к нему с поросячьим визгом, чтобы испытать и ужас и счастье от этого простенького кульбита.

Мне кажется, что и женился он из всей компании первым. Может быть я что то и путаю, потому что свадьба его очень широко и громко гулялась в нашей же квартире.

С папиными друзьями была связана и первая обида и первое ощущение иерархического неравенства.

Мы дружили семьями с архитектором Валентином Ивановичем Гусевым. У него было два сына – Володя, чуть старше меня, и Витя – чуть моложе… Они жили на Ульяновской, в большом доме, во дворе которого было много сараев, лазить по которым составляло немыслимое наслаждение и великую тайну.

Неожиданно эти визиты прервались и на долгие годы. Почему, я понял подслушав через ширму ночной разговор родителей. Оказывается Валентин Иванович был назначен на какую то должность – чуть ли не главным архитектором Минска – и его супруга в мягкой форме дала понять маме, что теперь они номенклатура и дружба с нами ниже их социального статуса.

Вовку Гусева я иногда встречаю и сейчас – пожилой, потёртый он из всех сил старается сохранить отблеск того самого статуса.

Потом в доме начали появляться мамины подруги по институту – маленькая, белокурая Аня со своим парнем невообразимо длинным и тощим Иваном – после института они уехали врачевать жителей Старобина и тётя Наташа Павловец – невообразимая красавица, бывшая партизанка. Её, как сейчас говорят, «бойфренд», впоследствии муж – дядя Володя Ивашин вызывал всеобщее почтение, поскольку учился в каком то ужасно

перспективном учреждении то ли Университете, то ли партшколе и должен был стать видным партийным начальником.

Видным партийным начальником дядя Володя не стал, но до проректора Университета дорос и, надо отдать ему должное, пару раз выручал меня по крупному.

Первый раз, когда меня первокурсника факультета журналистики в 1961 году, должны были по доносу руководителя литобъединения в газете «Знамя юности» исключить из Университета и из комсомола за антисоветские стихи и второй – уже на пятом, когда я намертво «зарубился» на защите диплома с председателем Госкомиссии, редактором «Звязды» и членом ЦК КПБ Пыжковым.

Город для меня географически чрезвычайно сузился, но духовно стал невообразимо шире, когда в 1950 году родилась моя сестра – Таня.

Правда Таней она стала через полгода после рождения, до этого была просто девочкой. Ни одно из имён к ней как то не «прилипало» до тех пор, пока родичи не написали на бумажках самые разные имена и не рассыпали эти бумажки на её одеяльце. Она ухватила Таню…

Город сузился потому, что уходя на работу и на учёбу папа и мама оставляли меня с сестрой и я, которому и самому то ещё не исполнилось пяти должен был за ней присматривать – кормить, пеленать, укладывать спать…

Таким образом моя вольница была резко ограничена, но в памяти не сохранилось ощущения досады или раздражения от этого.

Напротив я был безумно горд доверием и ответственностью, которые свалились на меня.

Всё было так разумно и естественно – папа должен работать, мама – учиться, я – присматривать за сестрёнкой.

Однажды спеша домой с бутылочкой молока, которое мы покупали у кого то на Лодочной (тамошние жители держали коров и коз) я упал и разбил бутылку с молоком. Никогда в жизни потом я не испытывал такого обжигающего чувства собственной вины из-за меня девочка осталась некормленной до прихода мамы.

Может быть эта разбитая в детстве бутылочка молока, то детское чувство неистребимой вины и сегодня, когда мы взрослые, самостоятельные люди не позволяет мне поднять голос и настаивать на своём праве старшего брата даже тогда, когда «маленькая девочка» бывает не права…

ГЛАВА 4

То ли в 50… То ли в 51 мы переехали с Красноармейской на Московскую.

Нынче подобное просто немыслимо… У папы был приятель, начальник строительного управления. Как-то раз он пришёл к нам в гости, посмотрел на нашу замечательную квартиру и сказал……

– Паша, месяца через полтора меня выгонят из начальников… На днях я сдаю объект… Поехали выберешь себе квартиру…

Мы поехали…

Долго ходили по пустому недостроенному дому – выбирали. Квартиры были двух и трёхкомнатные с длинными коридорами, чуланами и дровяными печами.

Мама склонялась к двухкомнатной, мотивируя тем, что не знает, что делать в огромной трёхкомнатной…

Однако перевесил папин аргумент, что в одной из комнат – самой большой и светлой у него будет творческая мастерская.

Мы переехали как-то ошеломительно быстро. Никаких ордеров, никаких разрешений…

Папин приятель, до того как его и в самом деле выгнали из начальников успел всё устроить – дом был ведомственный, принадлежал стройтресту.

Он торчал среди пустыря на перекрёстке между «грушевкой» и «толстухой» двумя бандитскими районами Минска. Недалеко от нас была и товарная станция с клубом Ильича, таинственным домом между рельсов товарной, в котором собирались по ночам разбойники, которых называли «бригадмильцы»… Сейчас я понимаю, что «бригадмильцы» это не название бандитской организации, а аббревиатура, которая расшифровывается как бригада содействия милиции.

Однажды, когда я работал в Новосибирске в газете «Молодость Сибири» детская моя осведомлённость здорово выручила…

В какой то занюханой пельменной мужик с пальцами синими от наколок прорывался без очереди…

Я чего-то вякнул… Он забился в истерике и дело могло бы закончиться хреново, но услыхав неистребимое белорусское «ча» и «ра» я спросил:

– Ты откуда, земляк?..

Мужик ответил:

– Из Минска…

Дальше было проще…

– Откуда, из Минска?..

– С Грушевки…

– А, я с Московской…

Проверяя меня, он спросил:

– А как Бэдю резали знаешь?..

– Ещё бы… Его зарезали в клубе Ильича, потом положили на рельсы под поезд…

Я был признан за своего, драки не случилось, а случилась полуторасуточная пьянка, встретившихся вдалеке от родины земляков…

Надо сказать, что поколение наше, послевоенное, жизнь расслоила как-то ужасно жестоко… Половина, что называется «вышла в люди», другая половина ушла в воры и сгинула по тюрьмам.

В нашем подъезде, на четвёртом этаже, жила семья из трёх человек – мать, она работала уборщицей, и двое сыновей – Толик – старший и Жора – младший… Фамилия у них была птичья – Синица.

Именно об этой семье, о Жорке и Толике написал обжигающе откровенную повесть мой друг Витя Генкин, который жил в соседнем доме. Витя был постарше и дружил с Толиком, а Жорка днями пропадал у нас дома. Он был очень хороший мальчик и очень любил читать. В нашем доме книг было много и, кроме того, мама никогда не позволяла себе накормить меня, не усадив за стол Жору…

Последний раз я его встретил после какой то очередной «ходки»… Мы случайно встретились возле вокзала и пошли с ним в ресторан «Радуга»… Разговора не помню… Помню, что от Жоры накатывали какие то тёмные, тяжёлые волны… Потом, по слухам он сел за убийство и был зарезан где то в лагере…

В другом соседнем доме жил Рома… Рома потерял ногу – его переехало трамваем, который тогда ходил по Московской и, так получилось, что через Бетонный мост на Чкалова в школу мы ходили вместе. Ромка тоже выбрал для себя тяжёлую тюремную дорогу. Представляю каково ему было на протезе шарахаться по зоне…

Иногда Рома появлялся в Минске, правда не надолго… Ходили слухи, что он в серьёзном авторитете… Проверить это мне как-то удалось довольно забавным образом – мой «москвич» всегда стоял во дворе, под окном, и никто никогда на него не покушался… Однажды утром я увидал, что его борт, который ближе к забору, сиротливо опирается на кирпичные столбики…

Я пошёл к Ромке…

– Ром, вы чего офонарели?..

– Алик, это залётные придурки…

Через три дня «залётные придурки» вежливо позвонили ко мне в дверь, вкатили четыре новеньких колеса и внесли сумку водки…

Несколько дней я всё собирался наведать Рому с этой водкой, но всё не получалось… Потом то ли водка кончилась, то ли Рома в очередной раз исчез… Больше я его на Московской не видал…

Были и другие мальчики…

Ещё до того, как построили 41 школу и мы в четвёртом классе большой компанией не самых дисциплинированных учеников перешли в неё, была знаменитая !– ая… Туда в первом классе, да и во втором, пожалуй, тоже по очереди водили нас с Вовой Пощастьевым через мост наши мамы… Иногда к нашей компании присоединялся Миша Левин… Сейчас он в Америке… Встречались мы с ним во взрослой жизни, когда у меня болели дети. Миша, как и его родители, стал прекрасным врачом. Тогда в 51 он был щуплым, тихим, очень интеллигентным еврейским мальчиком. Не могу сказать, что мы с ним были очень близки – для меня он был чересчур тихим… Но однажды, когда «переростки» – нынче значения этого термина наверно никто и не припомнит, – захотели проверить обрезан он или нет и, распяв его на перемене на учительском столе, стали стаскивать штанишки, взвыв, как будто обижали меня, я полез в драку и мне вломили по самую завязку… Помню, я обижался, что Миша сбежал, а не ввязался вместе со мной в драку… Потом обида прошла, в памяти до сих пор – больничная палата ДХЦ, в которой лежала моя дочка и доктор Левин, который приходил по несколько раз в день проведать её из своего соседнего корпуса…

Московская… Московская…

Иногда с ужасом, иногда со щемящей грустью иду я по её тротуарам и думаю – пятьдесят лет… Пятьдесят лет я неразрывно связан с этой улицей. Я помню её каштаны выше крыш, помню, как пьяные лейтенанты Белполка устраивали на ней перестрелки из пистолетов, помню трамвай №7, который гремел по ней от тракторного до товарной, помню Западный мост, улечься на котором между рельсов и пропустить над собой, проходящий поезд, считалось необходимой доблестью, чтобы быть принятым в компанию полублатной вольницы…

Где-то здесь, или вот здесь сидел на штабеле досок маленький одинокий, ни с кем ещё в этой новой для него стране не знакомый мальчик, которого отсюда, в пятилетнем возрасте свела мама в школу, страдая от его бесприятельского одиночества, надеясь, что это в шутку, просто чтобы не скучал, оказалось, что навсегда, на два года раньше других детей обрезав

его беззаботное детство знакомством с казённым домом. Школой…

Но это будет потом…

Пока мы только собираемся переезжать из четырёхкомнатной квартиры на Красноармейской в трёхкомнатную на Московской…

ГЛАВА 5

В день переезда на Московскую, когда вещи были уложены, запакованы и подготовлены к транспортировке мы с моим двоюродным братом Вовкой – сыном папиной младшей сестры, ошалев от вседозволенности, скакали как на батуте, на металлической панцирной сетке знаменитой, побитой осколками супружеской кровати моих родителей. Наша квартира на Красноармейской оставалась тёте Маше…

Последнее воспоминание об этой кровати датируется в моей памяти 53 годом… Датируется так точно потому, что именно в 53 году папа купил автомобиль «Победу» и мы все – папа, мама, я, Таня и ещё один мой двоюродный брат – Володя – сын тёти Гали, маминой сестры и Афанаса, попёрлись хвастаться покупкой к маминым родителям в Слуцк…

За рулём сидел мамин брат Аркадий, специально для этого переезда вытребованный из Слуцка – папа водить ещё не умел и прав у него не было…

Слуцкое шоссе было очень узким и извилистым. Точно на тринадцатом километре, во время обгона, случилась жуткая авария. Мы скатились в глубочайший карьер. Водитель военного Зила, который нас в этот карьер столкнул, смылся. Дорога, в выходной, была пустынна. «Победа» наша, сделав первый кульбит через капот, легла на бок и покатилась вниз.

Спасла нас, мелюзгу, мама… Она сгребла всех в щель между сидений, прижала сверху своим телом и нас не мотало по салону. Дядю Аркадия прижало рулём и это выручило его. Папы в машине не было, а его дверка, впереди, справа была искорёжена полностью. Я рванул наверх… Но папы на шоссе не было… Только через минут десять мы увидали, что из-под машины, рядом с задним левым колесом торчат папины ноги…

Дядя Аркадий упал в обморок, а мы с мамой, ухватившись за эти ноги вытащили папу из под машины.

Когда он понял, что мы падаем, он открыл дверцу и его вышвырнуло из салона. Упал он на дно карьера раньше чем туда скатилась машина, да так «удачно», что длинные «художнические» волосы ему прижало передним правым колесом, а ноги торчали рядом с задним левым…

Кто-то помог нам вытащить машину, она – вот диво – завелась и мы в состоянии шока проехали ещё километров пять в сторону Слуцка, пока не опомнились и не вернулись домой, в Минск…

Папу перенесли в квартиру уложили на кровать, все уселись

вокруг, молчание стояло тягостнейшее… Дядя Аркадий плакал…

Папа открыл глаза и сказал:

– Ладно… Давайте чего ни будь съедим…

В Слуцк, мы везли с собой огромный арбуз, который тоже остался цел. Его мы и съели у папиной кровати. Страх и отчаяние прошли…

Так и остались в памяти – железная, трофейная кровать, побитая осколками, папа с забинтованной головой, арбуз, который он по хохляцкой привычке ест с белым хлебом… Кровать стояла вот здесь, где сейчас стоит мой компьютер…

Эта авария имела некоторые важные последствия: во первых, лет пятнадцать мама не позволяла отцу ездить быстрее 60 километров в час… Даже когда мы пересели на «Волгу» и много всем семейством путешествовали по берегам тёплых и холодных морей, после шестидесяти мама начинала нервничать и укоризненно попискивать справа от папы; во вторых мы очень близко сошлись с семьёй Володи Посчастьева, нынче известного, маститого графика…

Дядя Стёпа – его отец – инвалид-фронтовик работал завотделом в ГУМе, потом был директором ГУМа, потом то ли министром, то ли заместителем министра торговли… Но тогда они с тётей Клавой – его женой, бывшей медсестрой в госпитале, выходившей его, мальчишку с перебитым позвоночником, и родившей ему сына были ещё очень молоды…

Так получилось, что подходить к разбитой машине никому не хотелось и она долго, с полгода стояла у нас под окном, закутанная брезентом, пока за неё не взялся дядя Стёпа… Наверно у него были большие связи, поскольку в те времена никаких сервисов не было, а ремонт такого объёма можно было провести только в гараже Совмина, в который, естественно, попасть было невозможно… Однако дяде Стёпе это удалось и, надо сказать, что на этой «Победе» мы ещё славно поездили, на ней открыли для себя Нарочь, где я и сел впервые за руль этой самой «Победы».

Но, это опять таки будет позже…

Тогда мы с Посчастьевыми стали дружить домами… Благо они жили тут же на Московской, через улицу… Эта дружба не прерывалась до конца жизни наших родителей и осталась в наследство нам с Володей… Дядя Стёпа и тётя Клава были людьми достаточно далёкими от искусства, хотя, нужно отдать тёте Клава должное, она потом изумительно вышивала гладью, справлялась даже с копиями картин Шишкина. Но тогда все женщины чего то умели и особого значения этому не придавалось…

Первым заметил, что Володя прекрасно рисует – папа… И сказал Вовкиным родителям, ваш сын талантлив, его следует учить, поэтому Володя после седьмого класса расстался с 41 школой, поступил в художественное училище, потом на факультет графики театрально-художественного института и стал тем, кем стал…

Жизнь удивительно переплетена случайностями, которые при ближайшем рассмотрении вовсе случайностями не являются…

Не существовало бы в те тяжелейшие послевоенные годы негласного, нерегламентированного фронтового братства, не встреть папа в пивной полковника Алфимова, неизвестно стал бы он художником или нет, не помоги нам тот неведомый начальник стройтреста вселиться в квартиру на Московской, мы бы наверняка не встретились с семьёй Посчастьевых, не приложи дядя Стёпа руки к нашей разбитой машине, не ходили бы мы к ним в гости, не обратил бы мой папа внимания на одарённого мальчишку и не было бы в Беларуси замечательного художника Владимира Степановича Посчастьева…

Однако, вернёмся на улицу…

Один из моих стихов, подаренный на день рождения режиссёру Игорю Волчеку и, увы, им утерянный, начинался так:

Гремит по улице трамвайчик,

А мы повисли на подножках…

Любимым развлечением пацанов в те годы было сигать с подножек трамваев – Господи! сколько же было этими трамваями отчекрыжено детских ручек и ножек, цепляться железным крюком за проходящие по улице полуторки и скользить за ними по льду на снегурках, или гнутых из стального прута «козах» и, конечно, взрывать…

Иногда, проходя по улицам, встречаю слепых людей, моего возраста, с лицом изъязвлённым, татуированным синими пороховыми отметинами, безошибочно признаю – наши пацаны…

Когда копали фундамент под строящуюся 41 школу – раскопали немецкий склад боеприпасов…

Какие сапёры!..

Никаких сапёров не было в помине…

Весь склад был растащен и перепрятан по сараюшкам, подвалам, чердакам…

Из артиллерийских гильз доставался трубчатый порох, который если его поджечь и быстро прижать к кирпичу вспыхнувшим концом, взвивался в небо, почище ракеты; винтовочные патроны разбирались, отсыпалась из каждого толика пороха, вставлялась на место пуля и эти полуфабрикаты выстраивались где ни будь между сараями и забором

присыпались порохом, чиркала спичка и гремели по нашим дворам автоматные очереди; откуда что бралось – откуда бралось знание и умение выплавлять тол из мин и снарядов… Что это было!?.. Отголоски партизанки или некая память на генном уровне?.. Не знаю!..

Но мы это умели.

Умели и делали…

Гремел взрывами разбитый, раздолбанный Минск…

Гудели пивные фронтовыми воспоминаниями наших родителей, а мы, словно сожалея о том, что опоздали родиться к великой войне играли, доставшимися нам по наследству от этой войны игрушками…

ГЛАВА 6

Рядом с нашим, 12 домом, построенным уже после войны, до сих пор стоит 10-й, знаменитый тем, что это был единственный дом в Минске, построенный, а не взорванный в военные годы. Он и по архитектуре, и по внутреннему устройству квартир не наш, немецкий… Немцы его построили, чтобы разместить своих офицеров.

В этом доме жило начальство… По сегодняшней терминологии его следовало бы называть элитным. Там жил Витя Генкин – его отец был начальником по строительству, а мать заместителем министра лёгкой промышленности. Жил там и Толик Андрижиевский, у которого водились совершенно немыслимые американские игрушки. Ходили слухи, что его родители то ли дипломаты, то ли торговые представители… Слова эти тогда ничего для нас не значили и мы их не запоминали…

У Толика был шикарный игрушечный автомат американского производства. Думаю, что и сегодня у мальчишечьей мелюзги он бы вызывал неистребимую зависть, но на нас он особого впечатления не производил именно потому, что был игрушкой.

Дело в том, что в конце «толстухи», у железнодорожных путей, в те времена была совершенно замечательная свалка всяких железяк, на которой резали собранное по белорусским лесам оружие.

Резали его так: приезжал грузовик и сваливал в кучу, автоматы, винтовки, пистолеты… Там же стояла железная хреновина типа гильотины и её стальной нож с хрустом пережёвывал военный лом, отсекая от прикладов и рукоятей стволы. В обеденное время, когда мужики, обслуживавшие эту гильотину и вохровец, охранявший всё это богатство разворачивали тормозки и наливали по первому стакану мы, перемахнув через досчатый забор, накидывались с разных сторон на кучу не порезанного оружия. Главное в этом действе было правильно рассчитать время – выскочить именно в тот момент, когда наполненные всклянь стаканы подносились к губам… Боясь расплескать водку, мужики и вохровец только орали на нас, но никаких резких движений совершать не могли…

Мы хватали из кучи, что попадётся и через секунду наши задницы сверкали над срезом забора и – ищи свищи…

Учителя в 41 школе боялись ставить нам двойки, поскольку вооружены мы были отменно… На площадке у чердачной двери, куда старшие пацаны уходили покурить, не диво было услыхать

разговоры такого типа:

– Махнём вальтер за два нагана…

Или…

– Шмайсер против двух ТТ и маузера…

Сколько этих железяк изымали у нас наши отцы и топили в сортире, который стоял на стыке двух дворов…

Потом свалку убрали. То ли куда то перевезли, то ли оружие по лесам закончилось…

Последним милитаристским отголоском стал снос сараюшек в десятом доме, которые, как и сам дом горбились во дворе с военных времён.

Я тогда учился на первом курсе университета и, проходя как-то по двору, увидал у одного пацана прекрасно сработанный, как мне показалось, из дерева немецкий шмайсер 44 года, тот самый, с которого был содран знаменитый автомат Калашникова… При ближайшем рассмотрении оказалось, что он вовсе не деревянный, а самый, что ни на есть железный, воронёный и почти не ржавый…

Ухватив пацана за ворот, я поставил вопрос ребром…

– Где взял!..

– В сараях…

– Что ещё нашли…

– У Васьки – маузер…

Я «сменжевал» у малого Васьки ладный, маленький, чрезвычайно симпатичный маузер за коробку горючей киноплёнки, из которой творились дивно вонючие «дымовухи» и ещё какую то ерунду…

Прятал от отца я этот маузер вплоть до четвёртого курса, когда он был всё- таки обнаружен и исчез навсегда в неведомом мне месте – сортир на стыке дворов давно снесли…

Самое забавное, что у этой оружейной истории было совсем не забавное продолжение уже во взрослой жизни…

Я работал на киностудии «Беларусьфильм»; был художественным руководителем, главным редактором студи анимационных фильмов и, как всякий начальник, имел добрые отношения с нашим куратором от КГБ – длинным, тощим, симпатичным мужиком, который сгорел за полгода после чернобыльской командировки… Все звали его Афанасьичем…

Вдруг, ни с того, ни с сего Афанасьич стал разговаривать со мной загадками типа:

– Ну, когда сдаваться придёшь?..

Или…

– Добровольное признание, смягчает вину…

Вначале я отшучивался, принимая его слова за не совсем

удачные подначки, потом понял, что подначками здесь не пахнет, что Афанасьич взялся за меня всерьёз…

Тогда я затащил его к себе в кабинет и спросил впрямую:

– Афанасьич!.. Колись, что ты от меня хочешь?..

Отнекивался он не долго…

– Откуда у тебя пистолет…

Я перебрал в памяти все железяки, которые прошли через мои руки в детстве – ни одна из них в этой жизни «светиться» не могла…

В конце концов, оказалось, что сын моей тогдашней жены – Дима, в тайне от меня «надыбал» где-то остов от ТТ – без затвора и ствола – кожух и рукоять и носился с ним по двору, хвастаясь перед сверстниками. Естественно, его застучали, дело попало к ментам и, были бы у меня крупные неприятности, если бы Афанасьич по долгу службы знакомясь с оперативными документами, не увидал знакомую фамилию и не забрал моё дело из «ментов» в свою «контору»…

Когда я сообразил, о чём идёт речь и, изъяв у Димы, совершенно безвредную железяку, сдал её Афанасьичу, он, нужно сказать, с искренним облегчением закрыл эту бодягу.

Так закончилось моё последнее «оружейное» дело.

И, только сейчас понимаю, какие неприятности мог я накликать на папу в те времена, когда оружие в доме было невероятной опасностью и грозило немедленной и безоговорочной посадкой.

Если добавить сюда, что при следствии непременно всплыла бы папина довоенная 58 статья – то дело могло окончиться совершенно скверно…

Кстати, о папиной 58 статье…

О том, что папа до войны сидел в тюрьме, я узнал на втором курсе университета…

До этого об этом в нашем доме не было помину…

Однажды, возвращаясь домой с каких то «гулей», на мосту, который ведёт от площади Независимости на Московскую я встретил папу, бредущего домой на изрядном подпитии… Мы, почему-то остановились на самом гребне моста и простояли там почти до утра… Может быть грохот эшелонов под нами, может что-то иное, распахнуло шлюзы воспоминаний и на меня обрушилась вся история папиной лагерной юности…

История моего деда Кирилы, бабушки Марии, тёти Кати…

Помню, как потряс меня рассказ отца о том, что на съезде художников СССР в Москве он встретил своего преподавателя в Академии искусств, который написал на него донос, стоивший отцу шести лет лагерей…

– Ну, и что ты с ним сделал?..

– А, какая расплата искупила бы изломанную мою жизнь?.. – вопросом на вопрос ответил папа и добавил:

– Взял бутылку водки, выпили и разошлись…

О, великое советское… «Взял бутылку, выпили»…

Нет в этом ни христианского всепрощения, ни яростной злобы – одна лишь всеобщая, человеческая беспомощность и безысходность…

С тех пор ненавижу всяческое государство, ненавижу всяческую власть и точно знаю, где начало моей ненависти… Там, на гребне моста от пощади Независимости до Московской…

ГЛАВА 7

Существует легенда, что наш дом построен на том месте, где были расстреляны и похоронены заложники, казнённые после покушения на гауляйтера Кубе… Не знаю насколько эта легенда соответствует действительности, но, судя по тому, что с домом всё время происходит что-то неладное – то он даёт трещину, то проседает и пытается отвалиться целый подъезд, некое мистическое начало в его судьбе присутствует.

До сих пор не могу себе простить, что не прояснил эту историю во время интервью, которое брал для радио у известной разведчицы Осиповой. Она была одним из организаторов покушения на гауляйтера и порассказывала мне много интересного. Особенно позабавила меня история героини Мазаник, которая и подложила пресловутую мину под перину Кубе. Оказывается, после покушения, когда переправляли в лес семью Мазаник, её мать потребовала, чтобы «эвакуировали» и их корову. По словам Осиповой, эта «коровья эвакуация» особенно дорого обошлась минскому подполью…

Рассказывала она мне и не менее забавную историю о похищении из Минска некоего высокого чина Люфтваффе с портфелем документов. Немец был влюблён в минскую девушку. Причём влюблён по настоящему. И, когда её прихватили, пошёл на всё, вплоть до измены фатерлянду и фюреру… Забавным было то, что операцию по изъятию штабного начальника проводили люди одного партизанского соединения, а люди другого, проведав об этом, устроили гонку на санях, в лучших традициях вестернов, чтобы этого господина отбить, приписать операцию себе и, естественно, получить все причитающиеся награды…

Партизаны, которые увозили на санях немца с его возлюбленной, долго отстреливались от преследовавших их лихих народных мстителей, пока им не удалось оторваться от погони.

Было у этой истории и неожиданное продолжение… Немец отсидел в лагере военнопленных до конца войны. Возлюбленная минчанка, как ни странно, его дождалась, вышла за него замуж, и они уехали в ГДР…

Возможно, кто-то подвергнет сомнению эти истории… Возможно… Однако, я ничего здесь не сочинил, как мне было рассказано, так и пересказываю.

Единственное, что безоговорочно допускаю, первоисточник мог присочинить – в послевоенной партизанской чересполосице, чего только не придумывали про свои подвиги славные герои.

Пишу об этом с известной долей иронии, поскольку не один раз убеждался в том, что многие настоящие герои в основном помалкивали и потихоньку вымирали… Павлиньи хвосты во времена, когда повалили награды и льготы, стали распускать в основном герои мнимые, дутые…

Работал на станции автосервиса на выезде из Минска в сторону Слуцка сварщик Жора…

Горелки он в руки не брал до тех пор, пока «хозяин» не смотается через дорогу в лавку и не поставит ему чекушку.

Начальство Жору не трогало до тех пор, пока не пришёл некий директор со стороны из отставных полковников…

Мы тогда с папой, по какой то надобности чинились в этом гараже и видали всё своими глазами…

Начальник отставник устроил Жоре жуткий скандал за пьянство… С ором, матюгами и топаньем…

Жора, нужно отдать ему должное, очень спокойно его выслушал, поправил расчёсочкой безукоризненный пробор и выдал начальнику такое…

Последняя фраза, если вырезать непечатные слова звучала примерно так…

– У меня… в бригаде… полковники… по-пластунски… сугробы… носом… пахали… И ты… гнида…

Ну, и дальше по тексту, в том же духе…

Взбешённый полковник выскочил из гаража, ошпаренным петухом. Назавтра, пришёл налаживать с Жорой отношения и был похож на полу ощипанного курёнка…

Видимо, заглянул в личное дело, из которого выяснил, что Жора в партизанах был командиром знаменитой бригады, то есть в генеральских чинах, после войны, возглавлял обком партии, потом райком, потом опускался всё ниже и ниже, пока не осел в сварщиках гаража и справедливо считал, что с этой «должности» его попереть некуда…

Ещё одной колоритней шей личностью был директор художественного фонда Изох… Однорукий, пучеглазый верзила – тоже бывший партизанский начальник. Папа был Председателем фонда и Изох номинально ему подчинялся.

– Изох… Ты же был командиром партизанской зоны… У тебя в подчинении были тысячи людей… А теперь с тремя сотнями художников справиться не можешь…

Это папина тирада…

Изох, наливался кровью, выпучивал глаза и с искреннейшим недоумением орал…

– Павло Кырылович, дак там же у меня был маузер и я их к сосне… К сосне…

Жора, кстати, с Изохом был знаком, их зоны соприкасались, и, вспоминая славные года, небрежно ронял…

– Когда Изоховы бандюки к нам забредали, шлёпали их без суда и следствия…

В одном из документальных фильмов мы снимали Алеся Адамовича… Не могу сказать, что мы с ним подружились, он был человеком достаточно закрытым и близко к себе подпускал людей с осторожностью и опаской.

Но пару тройку вечеров мы с ним посидели, поговорили… Его рассказ о начале партизанки в Беларуси был откровением…

– В 41 никакого всенародного сопротивления не было… К немцам относились достаточно лояльно… Они распустили колхозы и дали землю… Уходить в партизаны начали ближе к зиме 42, когда оккупационные власти восстановили колхозы, посчитав, что Сталин был прав и так грабить сподручней… Вот тогда и повалил народ в лес… Не от оккупации, от колхозов… И все были уверены, что главной наградой после Победы станет роспуск колхозов… Не случилось!.. Красные приходят – грабють, белые приходят – грабють…

Не ручаюсь за дословность, но по смыслу – точно…

Где-то к концу пятидесятых в нашем доме стали появляться папины и мамины однополчане…

Видимо, десяток лет потребовался им, чтобы опомниться от войны, как-то обрасти мясом, обжиться… После этого появилась тоска по юности и они начали искать друг друга…

Первым появился дядя Петя Тибабишев…

Я был дома с маленькой Танюшей, когда раздался звонок и в дверях загромыхал совершенно необъёмный дядька с тремя огромными то ли кофрами, то ли сундуками…

– Дэ батько!?.. – с неподражаемым хохляцким простодушием ревел он…

– Шо, на праци!.. А, маты!.. Тэж на праци… То будэмо разом борщ готуваты…

И мы с ним начали готуваты настоящий украинский борщ…

Был дядя Петро столь добродушен, общителен и казался таким свойским и безопасным, что даже мысли о том, что я пускаю в дом незнакомого не возникло в детской головке…

К приходу родителей, была готова ведёрная кастрюля борща, распакованы сундуки с салом, колбасами, копчёными курами, живыми раками, которые ещё копошились в мокрой траве, вялеными лещами и ещё чёрти чем невиданным и непробованным…

Дядя Петя учился с папой в семилетке, потом их пути разошлись и встретились они на фронте, под Москвой, вернее

подо Ржевом, где были самые кровопролитные и жестокие бои, да так и прошли всю войну рядом, пока дядю Петю не ранило в Австрии и они не потерялись…

Был дядя Петя командиром роты ПТР, а это значит, что всю войну он просидел перед пехотными окопами на самых танкоопасных направлениях с длинноствольными пукалками, которые, по соображениям, советских военных стратегов должны были поражать вражеские танки…

За время войны личный состав Тибабишевской роты сменился полностью несколько десятков раз, а громило-командир, каким то чудом остался жив…

Вообще, война в нашем доме незримо присутствовала всегда…

Только какая-то не такая как в книгах и фильмах…

Подозреваю, что в рассказах родителей и их друзей она была настоящей…

Немыслимо кровавой, немыслимо жестокой и в то же время смешной и тёплой – они были молоды, бесшабашны, никто не рассчитывал выжить, каждый день мог стать последним…

Ужасно горжусь, что дядя Саша Авакимян, почти родной нам человек, который нашёлся в начале шестидесятых, всерьёз называл меня фронтовиком, поскольку целых четыре месяца, беременная мной мама была на передовой…

ГЛАВА 8

С переездом на Московскую, мой город изменился. Изменился географически и социально. Старые детские связи и дружбы резко оборвались, а новые некоторое время не образовывались. Причиной тому, видимо, была слабая заселённость района и то, что в доме нашем располагалось общежитие строительного треста, жильцы были молоды, семей не пока не завели и единственным их развлечением были танцы под патефон на лестничных площадках.

Эти танцы нас крепко доставали…

Наша семья была единственной в доме, имевшей собственную квартиру, а не койку – поэтому мы считались буржуями и чувство социальной справедливости юных гегемонов требовало вести с нами непримиримую борьбу. В основном, эта борьба заключалась в том, что после двух-трёх танцев кто-то из наиболее революционно ориентированных молодых людей, мочился на нашу дверь и вонючие лужи затекали в нашу прихожую. Мама плакала, ежевечерне по нескольку раз, подтирая их.

Потом, изучая историю, я узнал, что буржуи во времена революционных катаклизмов тоже умели огрызаться, ставя гегемонов на место.

В нашей истории это произошло так…

Мама несла на стол суп… В супнице… Красивой, японской супнице, которая и до этой поры стоит в моём комоде… Проходя мимо двери, она услыхала некое журчанье и добродушный пролетарский грёгот за дверью. Как мама ухитрилась, не выпуская супницу из рук, открыть дверь – ума не приложу, но это ей удалось, и весь суп был выплеснут на оголённый член революционера…

Дальнейших эксцессов не последовало. Отпор буржуазии был воспринят адекватно и более нам на дверь не гадили.

Потом гегемоны стали обзаводиться семьями, интернатовские казармы превратились в коммуналки – начались иные времена…

Со многими из тех весёлых молодых людей мы прожили бок о бок по нескольку десятков лет, пару семей живут в нашем доме и до этой поры…

Замечательно красивой девушкой была маляриха Мария Короткая… Короткая – её фамилия по мужу, тоже очень красивому, стройному плотнику. Она долго жила с ним вместе, мучаясь безумно из-за его беспутного пьянства, прижила с ним двоих детей – сына и дочку, пока, в конце концов, не развелась.

Живёт она в соседней квартире и теперь – состарилась, хворает глазами, но всегда всё знает, что происходит в доме, какие вышли распоряжения от властей, когда выключат и когда включат воду, на сколько подорожает оплата за тепло и за свет…

Этажом ниже жили две семьи – Костика Повидайко и Сёмы Шиллинга. Шиллинги прожили недолго – скоро съехали – оставив о себе память афористическим воплем главы семьи. Когда ему казалось, что Сёму обижают, он выскакивал во двор и гонялся за нами, вопя во всю глотку: "Что б вас скоропостижный понос пробрал!..»

Понятия не имею, где сейчас живут Шиллинги, кем стал Сёма, жив ли его отец – но фраза о скоропостижном поносе осталась в памяти навсегда.

Отец Костика был не очень здоров, у него было что-то не в порядке с позвоночником. Допускаю, что фронтовая травма. Мать работала по торговой части, была пышнотелая и невероятно добра. У них первых в доме появился телевизор, маленький КВН с водяной линзой и вся подъездная малышня ежевечерне собиралась у их экрана.

Я помню голос диктора: «Белорусское телевидение начинает пробные передачи».

Помню замечательную детскую передачу «Клуб знаменитых капитанов». Она шла, по моему, несколько лет подряд и мы не пропустили ни одной. Это и в самом деле была блестящая постановочная, костюмная передача, с авторами которой я искренне хотел бы познакомиться и сейчас – такая бездна выдумки и фантазии была в ней заложена.

Потом подъезд стал заселяться иными людьми…

Появилась Зоя Романовна Локтионова с сыном Серёжей. Их балкон был виден из нашего окна, выходившего во двор. Серёже не разрешалось выходить во двор и играть с нами. Его печальная фигурка на балконе до сих пор стоит у меня перед глазами. Зоя Романовна была профессором, психиатром, заведовала кафедрой, воевала…

Её муж тоже был военным врачом и, вроде бы, погиб на фронте…

Иногда, когда Зои Романовны не было дома, Серёжа с балкона зазывал меня к себе и мы великолепно проводили время. У него в шкафу в потаённом уголке были спрятаны замечательные вещи – морской кортик, морской бинокль, которые ему не позволялось брать. Однажды Зоя Романовна вернулась в неурочное время и застала нас на горячем…

Её фраза потрясла меня, и я долго считал её верхом педагогического искусства.

Она сказала: «Серёжа, я тобой недовольна!..» – и всё…

Нужно сказать, что педагогическая изысканность и психиатрическая подготовка не уберегли Серёжу…

Войдя в юношеский возраст, он как с цепи сорвался, загулял, запил и поделать с этим Зоя Романовна ничего не смогла. Видимо, всё же, следовало не держать мальчишку на балконе, а позволять «выпускать пар» во дворе. Слишком много накопилось в нём нерастраченной в детстве энергии.

Зоя Романовна недавно умерла, до конца жизни оставаясь несгибаемой светской дамой. Серёжу иногда встречаю. Он сменил нескольких жён, поистрепался, но в чертах лица сохранилась дворянская порода, остался густой, красивый голос…

Много позже, во времена перестройки, когда косяком пошли публикации о жертвах сталинских репрессий, я узнал, что Серёжин дядя, родной брат его отца, генерал армии Локтионов, командующий Ленинградским военным округом, был единственным, кого не сломали бериевские застенки, кто не подписал никаких признаний, никого не «сдал», до конца крыл матом своих палачей и погиб, не изменив чести российского дворянина и офицера.

Потом, на четвёртом этаже появились Кин-Каминские…

В те времена походы в театр были естественным праздником. Я даже сказал бы естественным, еженедельным праздником. Родители ходили в оперу, на балет, в Купаловский, Еврейский, потом Русский театры – это было нормально… Единственной сложностью для мамы считалось запихнуть отца в костюм и повязать галстук… Он сопротивлялся, чувствовал себя неловко, но поделать ничего не мог – не посещать театр, считалось дурным тоном, художники, актёры, поэты были близко знакомы.

Фамилия Кин-Каминские вызывала уважение, хотя глава семьи был всего лишь братом знаменитого артиста.

Они были очень симпатичными и очень интеллигентными молодыми людьми, но, в силу этого, допустили ужасную ошибку… У них был единственный сын – Гога, маленький, пухленький и, в общем, то милый мальчик. Из самых лучших побуждений, переехав в новый дом, они взяли Гогу за ручку, вывели во двор и представили нашей компании…

– Дети… Это наш сын… Его зовут Гога… Мы бы очень хотели, что бы вы подружились…

Всё!..

Гога стал парием… Над ним насмехались, его травили, его не принимали в игры.

Следует отдать должное – Гога особенно и не набивался. Видимо их семья была самодостаточна. Им было хорошо втроём,

потому что и сами супруги Кин-Каминские, до сих пор ни с кем не завели в доме близких, соседских отношений. Они всё также милы, интеллигентны, всё время вдвоём, с рюкзаками, всё время либо куда-то спешат, либо откуда-то возвращаются. Когда Гога стал постарше, он тоже надел рюкзак и, до сих пор, даже когда приходит навестить родителей, у него за плечами болтается дорожный мешок.

Со старшим Кин-Каминским по настоящему мы поговорили совсем недавно, когда в нашем дворе стали сносить гаражи. Его – железный – просто зацепили трактором и развалили… Со мной этот номер не прошёл. Я не очень испугался милиционера и инженера ЖЭСа, довольно наглого и глупого, к слову сказать, типа… Вызвонил ребят с телевидения, прекратил самоуправство, но Кин-Каминскому это уже не помогло. Он очень сетовал, но как-то не активно, вяло, как человек, давно и основательно утративший веру в справедливость, в свои права…

Я гляжу из окна моей комнаты на наш двор и вижу, каким он был… В нём росла трава, по периметру он был огорожен забором с железными пиками. Въезд во двор охраняли железные ворота, в которых была калитка, закрывавшаяся на ночь дворником на замок. По праздникам во дворе сооружали длинный, общий стол, в окошко, чьей либо квартиры выставлялся патефон…

Странно… Всё это, в самом деле, было…

ГЛАВА 9

В школу меня отдали очень рано… Мне не было и шести лет. Я очень скучал без привычной детской компании и мама, вначале в шутку свела меня 1 сентября 51 года в 1 среднюю школу на Чкалова.

Она не рассчитывала, что я там приживусь, однако вышло наоборот. Когда через пару месяцев от неё всё-таки потребовали метрику и, оказалось то, что оказалось,– моя первая учительница Нина Георгиевна не разрешила маме меня забирать. В пять лет я достаточно бегло читал, знал наизусть много стихов – моя первая книга – толстенный том Пушкина, долго была со мной, до третьего класса сидел на ней, делая уроки, ростом я не вышел, до столешницы было высоковато…

Паспорт в 16 лет я получал уже студентом университета.

Это создавало некоторые трудности. Ввиду малолетства и малого роста, в начальных классах было довольно тяжко, меня лупили… В основном девчонки… Они были рослые, крепкие, а я задирался… Насмешки и подтруниванья закончились классе в восьмом. После каникул, по привычке, Витя Шитик полез драться, а я к тому времени уже имел какой то детский разряд по борьбе и, неожиданно для себя, бросил его через спину прогибом, основательно «вмазав» о доски пола…

Приставать перестали…

Но, до этого случая, мне всё время приходилось предпринимать всяческие отчаянные попытки самоутвердиться.

От некоторых и сейчас мороз подирает по коже… По периметру четвёртого этажа в 41 школе выложен карниз шириной в кирпич. На спор я пошёл по этому карнизу вокруг всей школы… И почти прошёл… Оставалось чуть-чуть… Но у открытого окна, притаившись в простенке, что бы не дай Бог меня не испугать, уже стоял директор. Схватив меня за ворот, он, буквально, вдёрнул меня во внутрь и залепил такую плюху…

С учителями и школьным персоналом отношения были сложные…

Пацаны мы были шкодливые.

Но, некоторые учителя запомнились на всю жизнь.

Особенно дорога мне память о словеснице в младших классах. Была она чопорна, носила пенсне, всегда в чёрном строгом платье с кружевным широким воротничком…

Имени, увы, не помню…

Я думаю, что во многом именно она определила мою судьбу. Случилось это так: мы писали изложение по рассказу

Станюковича «Максимка». Проверив тетради, учительница начала объявлять оценки. Поскольку, моя фамилия всегда была в начальных строках списка, я недоумевал – всем оценки объявили, а обо мне – молчок…

Осталась последняя тетрадка и прозвучала удивительная фраза…

– Белоусов сделал 12 ошибок, ему следовало бы поставить «кол», но он так красиво написал, что получил «хорошо»…

Колокола судьбы в этот момент не прогремели, но я искренне поверил в то, что красиво написанное стоит 12 ошибок…

С седьмого класса, по-моему, я вообще перестал готовить домашние задания, поскольку в таких дисциплинах, как литература, история, биология был далеко впереди программы, а касаемо математики, физики, химии, уяснил, что учить их для меня совершенно бесполезно, ибо туп в них был беспросветно…

И если сегодня я помню такие слова как синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс и косеканс – то это только благодаря блестящей драматургии, с которой преподавал нам тригонометрию великолепный учитель Иван Максимович Коробов…

Он вообще ничего нам не рассказывал, не задавал заданий, не проверял их выполнение, не проводил контрольных…

Ничего…

Урок начинался с того, что Генка Хацкевич, объявлял:

– Иван Максимович, у вчерашней задачи, я нашёл три решения…

– Как, три!.. – восклицал Иван Максимович и урок заканчивался. Остальное время, до звонка, они вдвоём стояли у доски, перебирая варианты решений и не обращая ни малейшего внимания на класс.

Так продолжалось два года.

Драматургия их соперничества была столь великолепна, что Генка прекратил босяковать и стал доктором математики, а я обогатился знанием тригонометрической терминологии.

В восьмом классе к нам пришла новая классная руководительница. Она только что закончила биофак университета, на субботники являлась в брюках, что само по себе в те времена было немыслимо, разбила возле школы огород, завела живой уголок с морскими свинками, кроликами, ужами, таскала нас в походы с палатками, кострами, ночёвками под открытым небом, рассказами про стебельки, травинки и цветочки…

Называть её Надежда Петровна не поворачивался язык…

Вот эта самая Надежда Петровна, совершила в моей судьбе

ещё один переворот…

Видимо, устав бороться с моей врождённой и воспитанной всей предыдущей борьбой за самоутверждение шкодливостью, она, неожиданно для всех, в том числе для меня и моих родителей, назначила меня старостой класса…

Она верно рассмотрела неудовлетворённую тягу к лидерству и подарила мне эту возможность.

Проблем с дисциплиной в классе с той поры она не имела. А я в юном возрасте, удовлетворив самые сволочные черты своего характера, навсегда освободился от желания быть начальником, не освободившись, правда, от стремления к лидерству. Просто это приняло некие иные черты…

А город тем временем продолжал расширяться…

Значительными событиями всегда были первомайские и октябрьские демонстрации и парады…

Один из них стоил мне третьей в жизни и последней отцовской порки…

По Московской, к площади, на парад проходила военная техника. Мы торчали на тротуаре, разинув рты, наблюдая за чадящими соляром танками. Они скапливались на нашей улице, стояли по полчаса и более ожидая команды на движение.

В один из таких танков я и упросил взять меня покататься.

Меня взяли. А в конце парада, опасаясь, видимо, наказания за самовольство выпустили на волю, где-то в районе Круглой площади у памятника Победы…

К вечеру, какими то невообразимыми путями я всё-таки добрался домой. Добрался сам. Родители, обегав, обзвонив милиции, больницы, морги – сходили с ума. Мне было не более шести лет. Может быть, в тайне папа мной и гордился, но выдрал, тем не менее, знатно…

Вообще, папа меня не наказывал – это была прерогатива мамы – она была легка на руку и лупила меня безжалостно до третьего курса университета.

Для папы это было немыслимо тяжело.

После каждого «серьёзного» разговора со мной он долго не находил себе места, мучался, объяснялся, просил прощения, короче, "доставал" так, что легче было выдержать мамину порку, чем наблюдать папины переживания.

Последний раз он «достал» меня, когда я, окончив университет, отслужив в армии, работая в газете «Літаратура і Мастацтва», став членом Союза художников СССР, женившись, написал статью о Заире Исааковиче Азгуре. В этой статье я позволил себе совершенно справедливое замечание, что Заир Исаакович великолепный портретист, но посредственный

композитор. Касалось это замечание памятника Якубу Коласу…

Прочитав статью, папа хмыкнул и три дня меня не замечал.

Первым не выдержал я…

– Папа, в чём дело, что не так?…

– Как ты мог написать такое про Азгура?..

– Но, разве я не прав?..

– Прав… Но, Заир Исаакович за свою жизнь перемесил глины больше чем все мы вместе взятые и, даже, одно это должно было удержать тебя от амикшонской непочтительности…

Урок этот я запомнил.

И, хотя, особым почтением к авторитетам не страдал никогда, впредь, старался быть более осторожным и взвешенным в суждениях…

ГЛАВА 10

Наш район начал как-то быстро застраиваться… Появился молочный завод, потом 41 школа, потом пенициллиновый завод, потом вся нечётная сторона Московской застроилась жилыми домами, потом на Фабрициуса вырос Клуб трудовых резервов, городское отделение милиции…

Улица, быстро и незаметно приобрела тот вид, который имеет сегодня. Только, кое-где, во дворах остались уголки старого нашего района.

Когда-то, ещё до той поры, когда построили завод «Калибр», по узкому проулку, мимо частных домов, можно было пройти на Суражский рынок. Сейчас на его месте находится депо метрополитена. В детские мои времена рынок был местом, где мы проводили не мало времени. Там кипела интересная, взрослая жизнь. На рынке было много инвалидов-фронтовиков, которые пели песни, играли в карты, просили милостыню, скандалили, пьянствовали, дрались…

Многих мы знали в лицо, с некоторыми дружили…

Потом, как-то сразу, инвалиды исчезли. Это случилось именно сразу, в одночасье. Они были, потом их не стало…

Много позже я узнал, что их исчезновение было результатом ещё одного мерзкого преступления советской власти.

Бедняг, оставшихся без рук, без ног, защищавших родину и оросивших своей кровью поля половины Европы, отловили, как бездомных псов, по их халупам, подвалам, чердакам и вывезли, куда то подалее от столичного города. Когда наследники тогдашнего начальства бьют себя в грудь, убеждая, что никто не забыт, ничто не забыто – я вспоминаю этих инвалидов, брошенных на погибель, выметенных из города как мусор и, верно, не однажды вознёсших к Богу горькие жалобы на то, что не прибрал их на полях сражений, а уготовил тяжёлую судьбину быть убитыми вторично, теперь уже «своими»…

На Суражский рынок мы ходили грабить палатки, воровать семечки и иную разную разность…

Палатки, «подламывались» очень просто… Под дно подкладывалась вага, палатка приподнималась и самый мелкий, но шустрый пацан, проникал вовнутрь, выпихивая сквозь щель всё, что попадалось под руку. Происходило это, конечно же, ночью. Налёты на палатки организовывали ребята постарше из семей «неполных» и бедных…

Сегодняшним разумом я понимаю, что были они просто хронически голодными, поэтому не могу осуждать их, не хочу

стесняться и своего участия в этих налётах, поскольку роль самого мелкого и шустрого зачастую выпадала мне.

У нас было много способов зарабатывать…

Одним из самых занятных и прибыльных было стояние в очередях. Когда в первом этаже нашего дома, вместо общаговской казармы появился гастроном и со двора «выбрасывали» разные продукты – сахар, крупы, масло и т.д., которые, кстати, продавались строго нормировано, по килограмму на нос, мы становились в очередь, рядом с чужими тётками и дядьками в качестве «второго носа», за что получали честно заработанный рубль, а они – лишний нормированный килограмм дефицита.

За день в очередь можно было стать более десятка раз – так, что у каждого образовывалось около червонца, и мы были сказочно богаты.

Деньги проедались в складчину. У нас были тайные места – «штабы» – на чердаках, в сараюшках, в подвалах… Мы притаскивали туда лакомства: лимонад, булочки, пирожные и устраивали пиры…

Было в этих тайных пирах и, что-то запретное, и, что-то от удивительного детского братства… Мы понимали, что не все дома могут попробовать конфеты, булки в виде птичек, с изюминками в глазках, мармелад и прочие прелести, поэтому делились всегда щедро и по справедливости.

По склонам, возле железнодорожного полотна, по весне, разбивались огороды. Это тоже была наша вотчина. По огородам, путём экспроприации, раздобывались зелёные перья лука, молодые в пупырышках огурчики, которые стаскивались в те же штабы и сметались вместе с мармеладом и сладкими булками…

Был ещё один способ зарабатывания – единственный, за который мне стыдно…

По нашим дворам, на телеге, ездил инвалид, который принимал молочные бутылки и свозил их на приёмный пункт молокозавода. Он был крупный и сильный дядька, но без обеих ног. Ящики с бутылками забрасывать в телегу ему было трудно и мы ему помогали. Дядька, несмотря на увечье, он был весёлый и добрый, нашу помощь принимал с искренней благодарностью, иногда покупал мороженое, которое накладывали в вафельные стаканчики, круглой ложкой, которую предварительно макали в тёплую воду.

Когда дядька выпивал, он грузил нас всех в телегу поверх ящиков с бутылками и, стегнув коня, с гиком и песнями катал по улице.

Не помню, кому пришла в голову мысль по дороге выбрасывать из ящиков бутылки, потом подбирать их и вторично

сдавать ему же, получая совершенно неправедные деньги…

Он обнаружил нашу подлость не сразу. Вполне возможно, он долго не допускал мысли о том, что грабят его «свои» же пацаны… Когда сообразил – стал скучным, наши катания в телеге прекратились, он только издали грозил нам кнутом. Ни за одну детскую проказу мне сегодня не стыдно – ни за враньё родителям и учителям, ни за «подломанные» ларьки на базаре, ни за мелкое воровство на огородах – стыдно за то, что обидели этого дядьку-инвалида, честно зарабатывавшего копейки на прокорм себе и своему коню…

Дядька, кстати, тоже исчез в то самое время, когда исчезли и остальные инвалиды из Минска…

Когда мы стали постарше, способы зарабатывания стали и честнее и тяжелее…

Первые деньги, по-взрослому мы заработали с Вовкой Смирновым, подрядившись пилить дрова кому-то из «немецкого» дома… Мы трудились два дня, но порезали двуручной пилой, все брёвна, которые лежали в сараюшке. Потом мы приспособились ходить на овощную базу. Там работа была весёлой. В огромные бетонные чаны ссыпалась шинкованная капуста, которую, для сокопускания требовалось хорошенько умять. Нас обували в резиновые сапоги, запускали в чан и мы, толпой, скакали, плясали, кувыркались в этом чане, веселясь под сыпавшейся сверху капустной стружкой, клюквой, мочёными яблоками. Продолжалось это до тех пор, пока чан не заполнялся доверху. Платили хорошо и, что было неимоверно удобно, сразу…

Позднее настала очередь товарной…

Но это было много позже – там требовалась не детская сила и выносливость. За ночь нужно было разгрузить эшелон либо с цементом, либо с мукой, сахаром, ящиками с провизией, углем…

Уголь был самым поганым нарядом, но и самым высокооплачиваемым…

Товарная помогала перебиваться даже в студенческие годы, когда я водил туда своих однокурсников, ребят, в основном, иногородних и на много меня старших, пользуясь своими знаниями старожила, знающего все входы и выходы, все щели в районе, зажатом с трёх сторон железнодорожными путями, пакгаузами, складами…

Приближенность к «стальным магистралям» породила и ещё одну забаву – страсть к путешествиям. Смыться из дому на день, иногда на два, три дня считалось очень «хорошим тоном»…

Ездили на подножках пригородных поездов, иногда на крышах, на открытых тормозных площадках.

Признаюсь честно, в моём послужном списке многодневных

побегов из дому не числится и поездок далее минского моря, которое залили, если не ошибаюсь в середине пятидесятых, не значится…

Почему?..

Не знаю, может быть, просто потому, что поводов убегать из дома у меня не было, может потому, что жалко было папу с мамой, но к вечеру я всегда возвращался домой. Родители, придя с работы, заставали дома пай-мальчика, даже не подозревая, что с утра, проскользнув в форточку и, пройдя по карнизу второго этажа до водосточной трубы, сыночек, вырвавшись на волю, бил баклуши на берегу водохранилища, и, буквально перед их приходом, тем же путём – по трубе, карнизу, через форточку – забирался домой и встречал их в запертой квартире с книжкой в руках…

ГЛАВА 11

Я пытаюсь вспомнить, когда появилось ощущение сопричастности моего детского мира и города…

Пожалуй, первое ощущение, что мы живём в городе, в котором происходит нечто значительное, хотя и не совсем понятное, случилось ещё на Красноармейской, когда к нам в дом заглянул Вовуська Фисько и завопил:

Бежим!.. МАК едет!..

Мы выскочили на улицу, по которой, пыля и чадя, ехал огромный грузовик…

Тогда он назывался МАК, впоследствии стал МАЗом…

Он казался нам дивом дивным – такой большой, мощный, невиданный. Настоящий великан среди полуторок, пятитонок и, даже, студэбеккеров.

Следующая история была связана с тем же Вовуськой, но произошла уже тогда, когда мы переехали на Московскую…

Видимо, жило в Вовуське некое неистребимое любопытство ко всяким новшествам, иначе трудно понять, как он добрался до нашего нового дома – тогда это было целое путешествие – нашёл меня и сообщил, что сегодня на аэродром прилетает самолёт «Аэрофлота» и это обязательно нужно видеть…

Володя смутно представлял себе, где находится этот аэродром, а я знал хорошо, потому что одна из временных папиных мастерских находилась именно там, в помещении строящегося минского Аэропорта-1.

И мы пошли смотреть, как будет садиться «Аэрофлот»…

Сегодня от моего дома это две остановки на троллейбусе, тогда транспорт в аэропорт не ходил -– считалось, что он безумно далеко, за городом.

Добирались мы туда пешком, долго сидели у самой взлётно-посадочной полосы, никакого забора ещё не было в помине, ждали…

Ждали долго, но дождались… Ближе к вечеру заревело, загудело – из-под туч вывалился серебристый Ли-2, на котором не было ничего написано – это и был долгожданный «Аэрофлот», с которым в дальнейшей жизни было связано столько приключений, путешествий, самых невероятных полётов и, на борт, которого, увы, вот уже, сколько лет я не поднимался из-за банальной дороговизны билетов…

Кстати, отсюда, из Минского 1-го аэропорта, взлетали мы с моим другом Воликом Никитиным, сокурсником по вечернему отделению факультета журналистики, вторым пилотом

незабвенного и легендарного Ан-2, на котором я получал первые уроки пилотирования.

Я поступал на первый курс вечернего отделения, поскольку в 61 году существовало дурацкое правило, по которому на стационар принимали только взрослых, имевших трудовой стаж не менее двух лет. Для бывших школьников путь был один – в армию. Вызвано это было, по всей вероятности, нехваткой призывников в армию 41-45г.г.

Меня выручило то, что в школу я пошёл очень рано и к моменту поступления, армия мне ещё «не светила», но, правда, и на стационар путь был заказан.

Так, что я срочно был устроен на работу форматором в художественный комбинат и, со справкой о трудоустройстве двинул на вечерний…

Волик окончил военное лётное училище, оказался мальчиком умным, за военной карьерой не погнался и, пользуясь льготами, без экзаменов был принят на первый курс вечерней журналистики и устроился в гражданскую авиацию.

С ним, когда у него случался рейс не с людьми, а с грузом мы и летали вместе, благо, ни на какую работу мне ходить было не нужно – числился я при папе…

Первый мой полёт в правом кресле второго пилота был уморительным… Я уселся на воликино место, взял в руки штурвал, поставил ноги на педали и пытался понять логику движений командира…

Минут через двадцать такого полёта, командир выбрался из своего кресла, буркнул, что пойдёт проверить груз и удалился…

Не могу сказать, что сильно испугался, теория была мне знакома, да и за рулём автомобиля я уже сидел года три-четыре…

Сбивали с толку педали… Они как-то странно влияли на стрелку горизонта, хотя визуально наклон земли

Минут через пять командир, вместе с Воликом вернулись. Командир плюхнулся в своё кресло и сказал:

– Да, бросай, вообще штурвал к хренам…

Командира следует слушать… Штурвал и педали я «бросил»… Самолёт, как ни в чём не бывало, продолжал лететь сам. Мысль об автопилоте появилась у меня так же, как сейчас появилась и у вас… Никаких автопилотов на Ан-2 предусмотрено не было…

– Достань, там, справа, на пружинках… – лениво процедил командир…

В щели между креслом и бортом кабины, на пружинках висела какая-то «глюковина», прибор с самописцем, фиксировавший перепады высоты, барограф.

Командир ткнул пальцем в зубчатую кривую…

– Это ты летел…

Потом отчеркнул ногтем, прописанную прибором ровную линию…

– А, это – он сам…

Так я познакомился с этим великим аэропланом, единственным, пожалуй, в истории мирового самолётостроения, который выпускался серийно почти полста лет, летал повсюду, даже у черта на куличках, не падал никогда, ну разве, только в тех случаях, когда пилоты уж очень старались его уронить…

Однако, вернёмся в детство…

Появление в Минске тракторного завода было связано с папиной сестрой тётей Машей и её мужем Николаем Обижаевым. Они переехали в Минск, окончив Сталинградский политехнический институт, по специальности тракторостроение, вначале жили вместе с нами, потом без нас, в нашей квартире на Красноармейской, потом получили свою на улице Стахановской, как молодые специалисты…

По Московской – от товарной до тракторного – ходил седьмой трамвай… От нашего дома, прямо до дома тёти Маши… Поездка в гости занимала почти час. Но зато, как потрясающе интересно было в их дворе. Мне казалось верхом целесообразности, что построен целый посёлок – город в городе – среди сосен, в лесу, что в этом посёлке живут только рабочие тракторного, казалось, как это здорово – всё время быть рядом – и на работе, и дома… Казалось, что все в этом посёлке должны быть большими друзьями, помогать друг другу в трудную минуту.

Так мне казалось…

Потом начали строить Проспект, дома на привокзальной площади… Там тоже у папы была мастерская. По углам привокзальных башен были расставлены – солдат, крестьянка, рабочий, кто-то ещё… Одну из этих фигур лепил папа…

Во время парадов и демонстраций мы поднимались с ним на самую верхотуру этих башен – оттуда был виден весь Минск, и я, с замирающим дыханием от такой невиданной высоты, всматривался в проползающую по площади у Дома правительства бронетехнику, пушки, автомобили, батальонные коробочки, марширующей пехоты…

В нашем доме всё чаще стали появляться, уверенные, хорошо одетые, весёлые люди – московские архитекторы, авторы проекта застройки Минска…

Одно время родилось мнение, что центральный проспект, рассекающий мой город с запада на восток, бывший Ленина, нынче Скорины – бездарный памятник времён сталинского лже-

ампира…

Не знаю, как быть с ампиром, но то, что это памятник эпохи – точно… Он вырастал быстро, его почти целиком отстраивали немцы-военнопленные, все дома на нём были красивые, новенькие, с финтифлюшками лепнины. И только одно место вызывало у меня холодное ощущение страха.

Это были высокие, железные ворота в здании КГБ, которые и сегодня выходят на проспект.

Я не знал, что в этом здании, речи о его предназначении никогда в нашем доме не заходило, но, помню, возле этих ворот, когда случалось проходить мимо, проходил с внутренним, непонятным мне трепетом. Всё время казалось, что оттуда должны раздаваться стоны и плач. Я прислушивался, стараясь уловить их и жутко боялся услыхать в самом деле.

ГЛАВА 12

Пытаюсь припомнить, какие же ценности были в ходу у нас – послевоенной, дворовой пацанвы?..

Точно помню – богатство было не в почёте…

Папа зарабатывал прилично, мы были единственными, у кого имелось собственное авто, отдельная квартира, тоже редкость, в квартире – много книг. Книги – котировались – постоянно кто-то приходил, брал почитать. Начитанность, умение фантазировать, придумывать, рассказывать были моей палочкой-выручалочкой. Но превыше всего, пожалуй, ценились отвага, самостоятельность, сила и честь… Сказал – умри, но сделай!..

Трепанулся, что не слабо лечь на мосту под поезд и струсил, пиши пропало, затуркают, засмеют, перестанут водиться. И не откупишься пирожками, которые напекла мама на ужин, а ты выволок тайком во двор, чтобы «подмазаться» к авторитетным сверстникам… Пирожки слопают, потом – турнут…

Сказал, что прыгнешь с третьего этажа в кучу, привезенного во двор песка, хоть вой от страха, но прыгай…

Вызвался залезть в палатку – лезь!..

Дрались часто, но у каждой драки были правила – бились один на один, или, по договорённости, кодла на кодлу, точно оговорив, кто участвует, кто против кого, – остальные не лезь!.. Лежачего не трогали. По уговору, дрались до первой «юшки», то есть, до первой крови… Пока нос не разобьют и соплями кровавыми не умоешься – выйти из драки, убежать, считалось, за падло…

Составляя кодлу для групповой битвы – старались пары формировать примерно из равных по силе и возрасту, старшие младших, как правило, не трогали. Более того, если в школе, кто-либо старший приставал к малолетке из нашего «прайда», можно было обратиться к «своим» старшим за поддержкой. Помогали, но своеобразно – обидчику, предлагалось «стукнуться» с равным по возрасту и силе соперником. Но, такие поединки были редкими, только в тех случаях, когда присутствовал явный беспредел. Проблемы следовало решать самому…

Такие отношения были приняты и между родителями. Вмешать отца в пацаньи разборки, считалось стыдным.

Однажды, отлупленный кем-то, в соплях и слезах, прибежал домой, попросил отца вступиться… Папа открыл дверь, выставил меня за порог, сказал: «Разберись сам, потом приходи…».

Не признавали правил дворового общежития девчонки… Они могли толпой напасть на одного и измутузить портфелями, как

сорочья стая. Но нарваться на драку с «бабьём», тем более быть ими отлупленным, считалось делом если не позорным, то, во всяком случае, не совсем достойным, поэтому девочек старались особенно не обижать, держались от них в стороне.

Очень почитались те, кто умел хорошо играть в детские игры…

Игр было много… В пикаря, в тюху, в маялку, в лапту, в «замри-отомри», в «порви рукава», в прятки, казаки-разбойники – дворы гудели и звенели от детских воплей, визга, смеха…

Кажется, что сейчас так не играют, да и названий таких игр не помнят.

Детей в каждом дворе было много, коловращение и беготня – беспрерывны…

Никогда более в жизни не просыпался с таким полным ощущением счастья от предстоящего, до краёв наполненного событиями дня, как тогда – в детстве…

Всё было так важно… Ничего нельзя было отложить на потом… И если со двора раздавался крик:

– Выходи!..

То никакие домашние дела, обязанности, мамины запреты – «не работали»… Хлопала дверь, со свистом проскальзывали ступени лестницы под подошвами сандалий и – вперёд… До вечера, до темноты…

По весне, когда таял снег и в яминах, низинах, болотцах образовывались огромные лужи – из досок, ящиков, бесхозных жердей, заборов сооружались плоты, на которых разыгрывались настоящие морские сражения…

Приползали домой, мокрые по уши, стуча зубами от холода и – драны были нещадно и не единожды, за порванные, переквецанные, мокрые пальтишки, штаны, валенки…

Иногда забивались к кому ни будь домой, если родителей не было. А родителей не было часто…

К Светке Фиалке из четвёртого подъезда забирались в окно по водосточной трубе на третий этаж… Она считалась девочкой порочной любила и умела обжиматься, к Ленке из второго подъезда лазили через балкон второго этажа, до которого можно было пройти по карнизу, выбравшись из окна подъезда… Верхом блаженства было времяпровождение в сараюшке и Витьки Гаражи – он держал кроликов и позволял приносить им траву и кормить, у Вовки Посчастьева наводил ужас кожаный с металлическими рёбрами корсет дяди Стёпы… У Женьки Слуцкого мама была библиотекарем, было много книг, книг заманчивых. Например – все выпуски «Приключений майора Нилина». Папа такое чтиво не одобрял и, выклянчив у Женьки очередной выпуск, я забирался

дома в дровяной чулан, был такой в нашей квартире, поскольку газовых печей не было, а на кухне стояла огромная дровяная, и, устроившись со свечой, на поленице, под потолком, захлёбывался геройскими подвигами славного майора, который ловил по десять шпионов на пяти страницах.

Отец Володи Туняка откуда-то с крайнего Севера (что он там делал?!) привёз огромную шкуру белого медведя, которая была разостлана на полу. У этого медведя был чудный длинный мех, который мы и вырезали вместе со шкурой, чтобы «мастрячить» фантастические маялки…

Игра в маялку требовала качественной снасти, состоящей из куска свинца и, прикреплённого к нему куска шкуры с мехом. Мех выполнял роль стабилизатора, поскольку маялку следовало подбивать вверх, внутренней стопой ноги как можно дольше… Естественно – мех белого медведя для этой цели был незаменим…

Случались игры и поопасней… Ко мне домой иногда собирались, что бы пострелять из папиного ружья. Его подарили отцу на день рождения друзья скульпторы. Оно было «занэкано» в глубине платяного шкафа в разобранном виде. Патроны 16 калибра, латунные, тяжёленькие, блестящие были спрятаны под бельём на верхней полке того же шкафа.

Схроны, однако, казались надёжными только родителям. Достать ружьё, прикрепить стволы к прикладу, защёлкнуть цевьё, подковырнуть ножом, картонный пыж, высыпать дробь (слава Богу, хватало ума), загнать патроны в стволы и устроить в доме пальбу – было делом обычным. Квартиру, правда, потом приходилось основательно проветривать, запах, сгоревшего пороха, был на диво въедлив.

Но времяпровождение по домам не считалось, как сейчас говорят, приоритетным…

Главными были двор и улицы.

География города значительно расширилась с появлением велосипеда. Это был чудный, подростковый аппарат под названием «Орлёнок».

Учил меня ездить на нём папа. Учёба завершилась двумя или тремя уроками. Придерживая велосипед за седло и руль, папа несколько раз пробежал вместе со мной, сидящим верхом на никелированном чуде по двору, облегчённо перевёл дух, посмотрел мне вслед и я поехал сам.

Велосипед был моим побратимом. Мы с ним понимали друг друга, как однояйцовые близнецы. Всё то, что сегодня умеют горные велотуристы, велослаломисты и, как там ещё они называются, я умел проделывать на орлёнке…

Мы строили трамплины и прыгали с них на «Орлёнке». Мы играли в воздушный бой на велосипедах, сбивая неприятеля наземь лихим таранным ударом по заднему колесу. Я возил на своём «Орлёнке» по восемь пацанов и девчонок зараз, рассадив их на руль, на раму, себе на плечи, расставив на багажник, на втулки колёс.

Но, главное, на нём можно было съезжать со двора и самостоятельно отправляться путешествовать по околицам города.

Так я открыл для себя мир пригородов, отдалённых районов, куда не ходил никакой транспорт, мир, густо застроенный частными домами, Грушевку, Степянку, сельхозпосёлок, болотную станцию… И, конечно, парки – парк Челюскинцев, парк Горького, в котором, кстати, существовал велотрек, куда съезжались многие минские пацаны и, где проходили нешуточные, головоломные, нерегламентированные соревнования по спорту, который назывался «костянкой» за то, что в нём дозволялось и, даже поощрялось, не столько умение обогнать соперника, сколько умение «уронить» его на крутом уклоне, столкнуть с трека, а самому проскочить вперёд мимо завала и выиграть заезд…

ГЛАВА 13

Я не обратил внимания, когда город стал прибывать не улицами, не площадями, не парками, а людьми…

Помню, как вместе с папой, мамой, какими то семейными друзьями отправлялись по выходным в парк Горького и, сразу справа, за мостиком, располагались с немудрящим «дастарханом» на травке, родители выпивали и закусывали, мы, малышня, купались в Свислочи, бесились…

Помню, как зимой ходили в тот же парк Горького в цирк-шапито – огромную брезентовую палатку с дощатыми рядами скамеек, ареной…

Помню катки, которые заливались на Центральной площади, на стадионе «Динамо»…

Помню поездки в гости к родственникам…

Но, это всё географическая память. Когда начались встречи, знакомства с людьми вне круга домашнего общения, вне школьного круга, с людьми взрослыми?..

Пожалуй, началось это с бани…

Через Бетонный мост, сразу налево, либо по рельсам в сторону пожарки, располагалась «железка» – старинная, теперь уже позапрошлого века баня. Построена она была для того, чтобы члены локомотивных бригад, вернувшись из рейса могли отмыть угольную гарь и пропарить застывшие кости…

В середине пятидесятых, когда мы с папой стали ходить в эту баню – она была в Минске самой почитаемой по пару. Живы были в ней и, как теперь говорят, «заморочки» внедрённые ещё локомотивными бригадами, ну, например, полки выстилались соломой, приходить в баню нужно было к первому пару, иначе было « не в кайф», запрещено было париться с мылом и т.д. и т.п.

В «железке» был строгий регламент. По средам парились евреи-таксисты. Это был их день, они собирались со всего Минска, ребята были лихие, в бане стоял гогот и ор, говорили в основном на иврите, все друг друга знали с малолетства, помнили кто где жил до войны, помнили гетто, эвакуацию, кто у кого были родители, кто кого обижал в детстве…

По пятницам – собирались спортсмены – борцы, штангисты, легкоатлеты, публика чистая, к бане относившаяся, не как к досугу, а как к работе, люди сильные и, что производило впечатление, выезжавшие за границу, это накладывало на них некий таинственный флёр…

Попасть в баню в этот день считалось не очень удачным, поскольку спортсмены «строили кольца» – занимали очередь на

полок друг за другом – кольцом – и попасть на верхнюю полку, пока они не выпарятся все, не отмассируют друг друга, не пройдут по второму разу – не было никакой возможности…

Помню, однажды попав в такое «чертово колесо» стояли мы с папой внизу, папа был очень расстроен и, хоть в бане его уважали, но пробиться на полок не получалось. В это время в парилку вошёл Лёня Китов – был такой феноменальный борец, который папе позировал и, который запомнился мне великой фразой:

– Этот Медведь мне всю жизнь застит…

– Почему, Лёня?..

– Так я его в семь раз сильнее, а дурнее в семнадцать…

Лёня, как и Александр Медведь, был родом из Бобруйска и знакомы они были с детства.

Так вот, входит Лёня и говорит:

– Павел Кириллович, чего грустный?..

– Да, видишь… Вовка кольцо построил, никак не попарюсь…

Лёня поднимается наверх, где лежит молодой тяжеловес Вовка, которого парят в четыре руки, сменяя друг друга, несколько партнёров и спрашивает:

– Вовка, ты что сильный?..

Не подозревающий подвоха, здоровенный Вовка, расслабленно мурлычет:

– Сильный, Лёня…

И тут Китов берёт его правой рукой за загривок, левой за промежность, поднимает сто пять килограммов упругого, скользкого, распаренного мужского тела на вытянутые руки, сбрасывает вниз и, вроде бы удивлённо, произносит:

– Смотри-ка ты, а я сильней…

И орёт, перекрывая гогот, звон тазиков, плеск воды…

– Павел Кириллович, иди попарю…

Таковы были нравы в этот день…

Но самым любимым днём для бани – была суббота. В этот день в «железке» собирались актёры, художники, профессорско-преподавательский состав… Все были знакомы, всё было степенно, без толкотни, криков…

Я посылался «забить» очередь часам к семи, дожидался когда начинали «пускать» и занимал пару шкафчиков… К этому времени приходил папа и самые доверенные люди шли мыть парную. Это было священнодействие. Парилка топилась дровами, исключительно берёзовыми, никакого угля не допускалось, а про газ и помину не было. Стены были покрыты копотью, их следовало вымыть огромными швабрами, поливая водой из шланга, после чего парилку нужно было просушить, наподдав в

печь кипятку из толстостенной медной кружки. Поддавать следовало по четверти кружки не более. Когда открывалось жерло печи – оттуда вылетали белые, как снежинки, искры… Кипяток до камней не долетал, он взрывался на подлёте… Взрывался, в данном случае не иносказание, взрывался на самом деле, так, что закладывало уши и взрывной волной захлопывало дверь…

Тогда-то я и понял, что значит, уши от пара сворачиваются в трубочку…

И, только после того как парилка просохла, её проветрили – поддавался первый пар, которым парились, в знак уважения, те, кто мыл и готовил баню для общества…

В бане не принято было суетится, всё делалось размеренно, неспешно…

Попарившись, следовало выйти в раздевалку, улечься на лавку, полежать, потом в парную по новой, после чего массаж, расслабуха, вновь в парную, в раздевалке в это время начинались беседы, травля баек, анекдотов… И так до пол дня…

Попарившись, все собирались в маленьком буфете, доставались собойки, бутылки со всевозможными целебными настойками, каждый «выдрючивался» как мог… Заказывалось пиво и ещё пол дня продолжалось бражничанье и душевные разговоры – так что возвращались из бани только к вечеру.

В бане было стабильное общество. Приходили сюда и начальники. Но, сняв штаны, моментально теряли всю спесь, гоготали, ссорились из-за очереди на полок…

Помню, кто-то из случайных посетителей, которые были редки, начал давить авторитетом…

Я, мол, кандидат наук, как можешь ты со мной спорить…

Кандидата, тут же осадили, предложив надеть штаны, после чего он сник, стушевался, перестал «выступать»…

Однажды маму укусила змея… Они с отцом в воскресенье поехали в грибы, мама наступила на гадюку, и та её укусила…

Когда примчались в Минск, нога у мамы распухла, стала чёрной, поднялась температура и мама начала бредить…

Я не зря упомянул, что это было воскресенье… Ни у одной бригады скорой помощи не было с собой противоядия, вакцины…

Спасло маму великое банное братство. Папа начал звонить, все базы, аптечные склады были закрыты, но кто то, по банным связям, до кого то дозвонился… Этот кто то имел право вскрыть склады, которые и были вскрыты, вакцина была доставлена, укол сделан – мама выжила…

Очень колоритной фигурой в бане был ректор института народного хозяйства Сугробов…

Он был вполне пожилым мужиком, как я сейчас понимаю, в

экономике ничего не смыслил, поскольку всю жизнь преподавал что то вроде истории партии, жить ему было невыносимо неинтересно и только в бане он находил истинное удовольствие.

Парился он как морж… Ревел, вопил, кряхтел… Потом обливался ледяной водой… Молодые кандидаты наук, сменяя друг друга пытались его выпарить, достать, промять его дублёную шкуру… Он не участвовал в общих беседах, а если участвовал, то нёс такую ахинею, что уши вяли… Зато после бани, в буфете он был на коне… Сидя во главе «забитого» заранее стола, уставленного капустой, огурчиками, копчёным салом, жареным мясом, картошечкой, разными запивками и заедками он блаженствовал и чувствовалось – рождён человек для застолья и на фиг ему не нужны ни политэкономия социализма, ни учёные советы, ни борьба с мировым империализмом, ни Маркс, ни Энгельс вкупе с Лениным – здесь его место, здесь он царь, здесь Бог, здесь – воинский начальник…

Железку снесли с началом перестройки…

Вначале она захирела на двадцатикопеечных билетах, потом её купили под какой то магазин, потом долго стояла пустая и холодная, потом её не стало вовсе и Минск потерял что то очень важное, что делало его особенным…

В сегодняшние бани с их электрическими ТЭНами я не хожу…

Вообще, пришедшее на смену Сугробовым, которые тоже не были сахарными, общество, общество хамоватое и малокультурное, общество выросшее не в этом городе, не знающее его историю и традиции, общество «иванов, не помнящих родства» представляется мне мало интересным…

При входе в зал ресторана «Свислочь», бывшей «Беларуси» сто лет висело скульптурное панно «Лявониха»… Его красили масляной краской, , обновляли при реконструкциях и переделках, но оно висело никому не мешая…

Сейчас, когда ресторан и гостиницу продали туркам, я зашёл поглядеть – висит ли оно…

Нету!..

Никто не мог мне ответить куда оно подевалось, скорее всего срубили и выбросили… И никому невдомёк, что панно это последняя работа в Минске Михаила Аркадьевича Керзина, легендарного директора Витебского художественного техникума, учителя Заира Азгура, Андрея Бембеля, Алексея Глебова, Сергея Селиханова, Дмитрия Орлова…

Что было оно отлито на минской фабрике «Коммунарка» из шоколада и подарено Сталину к его семидесятилетию, а рабочая модель из гипса десятки лет – целую эпоху – висела в старейшем

минском ресторане, в который ходили мы с папой обедать по воскресеньям.

Ресторана, в котором можно было пригласить к столику шеф-повара и долго, со знанием дела, обсуждать как следует приготовить эскалоп, как должна быть подана селянка…

Это было недавно…

Я это помню…

Однако, вернёмся в город, в город, который неожиданно и стремительно стал обретать лицо, живущих, или живших в нём людей.

ГЛАВА 14

С пятого класса начался спортивный ажиотаж… Пацаны, достигнув возраста, «ломанулись» в секции.

Я не понимаю, почему сегодня спорт заперт на семь замков?.. Почему, наблюдая за олимпийскими играми, мы сталкиваемся нос к носу с незнакомыми лицами, незнакомыми фамилиями… В то, далёкое время, имена спортсменов и тренеров были у всех на устах…

Во дворах мальчишки обсуждали достоинства и причуды Бокуна, Мирского, Лапидуса…

Тренировались в «Красном знамени» – помещении бывшей электростанции, что рядом с цирком – вместе с легендарным Олегом Караваевым, у Мирского, на «Динамо» ходили к Бокуну и фехтовали вместе с Никанчиковым, маленький, упругий, как теннисный мячик, Лапидус, ходил по школам выискивая крепких пацанов, приходил к родителям, обещая сделать из них олимпийских чемпионов по штанге…

Первая секция, в которую я записался, была секцией фехтования, царила там Лариса Петровна Бокун… Это потом она стала легендой, с её и её мужа именами была связана легенда о белорусской школе фехтования, а тогда она была молодой девушкой, в её зале, залитом светом, с до блеска натёртыми полами, пребывали затянутые в белые нагрудники молодые люди. Их лица были закрыты проволочными масками, говорили они по-французски…

Но, в этой секции я не задержался… Что-то случилось с учёбой и папа меня оттуда забрал. Всесторонне обсудив собственные возможности, рванули мы с Костей Повидайко в гимнастику… Там поглядели на нас, улыбнулись и посоветовали пройти в соседний зал – зал борьбы… Мирский – как его звали, не помню – по-моему, он всегда был Мирским, сказал: «Раздевайтесь…».

И началась эпопея борьбы… Я терпеть её не мог, но деваться было некуда, хитрый, сильный, по молодости лет, лёгкий, я остался в этой секции и не один год потом, «валтузили» меня физиономией по потным, вонючим матам, слава Богу, уши не поломали…

Несколько раз я сбегал из этой секции. Было любопытно и на велосипеде покататься, и по горам полазить, и в футбольных воротах постоять, но судьба неуклонно возвращала меня на борцовский мат… Нужно было бороться за родную команду – не было никого в моих пятидесяти семи килограммах – потом, за

родной факультет, родной Университет, родной «Буревестник»…

И сейчас встречаю на улице своего последнего тренера Виталика Фефелова, замечательного мастера, умницу, когда то, чуть не ставшего то ли олимпийским призёром, то ли призёром чемпионата мира…

Помню, с каким почтением наблюдали за тренировками Олега Караваева.

Любовь к спорту, привитая с детства, выручала и во взрослой жизни…

Так получилось, что удалось избежать в кинематографической профессии работы над политическими фильмами, всеми этими «болтами в томате», как мы их называли… В моём послужном списке только фильмы об искусстве и о спорте… Спорт подарил мне знакомство со многими великими своими представителями – Леной Беловой, Сашей Тихоновым, Олей Корбут…

Маленькая, замученная Оля приходила ко мне домой и говорила…

– Давай поедим…

Становилась на кухне, жарила огромную сковороду луку, варила кастрюлю макаронов, садилась, несчастная, за стол и уминала всё сваренное и поджаренное – куда в неё, кроху, влезало?..

Лена Белова – рыжеволосая царица – когда появлялась во Дворце спорта в немыслимом зелёном платье – мужики сворачивали шеи, столько стати и грации было в её походке. Это потом я узнаю, когда познакомлюсь поближе, какой ценой даётся эта уверенность в себе, эта грация…

Саша Тихонов, феноменальный биатлонист, лихач, которому любое море было по колено, повстречался мне в Бакуриани, где советская сборная готовилась к чемпионату мира, который впервые должен был проходить на вновь отстроенном комплексе в Раубичах, и, о котором мы должны были снимать фильм «Охота на золото» – первый мой фильм, прививший вкус к кинофестивалям и победам на них. Сборная состояла из сибиряков, была обставлена группами новосибирского, челябинского и Бог весть каких ещё телевидений, но Саша, как-то сразу понял, кто есть кто и, собрав сборную, которая нас не приняла, сказал…

– Так, придурки… Запомните, через пару лет все забудут ваши имена… А через десять, сыновья пойдут в кино и увидят, кем был отец… Для этих ребят – делать всё…

Для этих ребят – это для нас – Сергея Лукьянчикова и Феликса Кучара…

Фильм рождался очень тяжело…

Мы наблюдали за сборной, таскаясь за ней повсюду, придумывая разные эпизоды, которые могли войти, а могли и не войти в фильм. Установка была простой – «наши начинают и выигрывают»… Но, как это и бывает в спорте – драматургия жизни интереснее драматургии придуманной. Наша сборная начала и пошла «продувать» всё подряд… А мы мотали плёнку. И, хоть было её у нас 1х12, к моменту эстафеты мы вымотали её всю.

Ситуация – плёнки нет – завтра эстафета…

Кое-как выклянчили пару рулонов чёрно-белой, поставили четыре камеры, начали снимать…

И тут пришла долгожданная удача!

Сборная выиграла!

Но самые «ударные» кадры у нас не в цвете. Феликс «химичил», вирировал плёнку, обманывал публику…

В результате, ушлые зрители потом говорили…

– Как здорово вы придумали… Весь мир, словно выгорел, стал монохромным и в этом появилось такое напряжение…

Ничего подобного мы не придумывали – получилось само…

Саша потом часто приезжал в Минск на сборы… Удирал из Раубичей, нагружал багажник машины шампанским и коньяком – запирался у какой ни будь из наших знакомых девушек на квартире и гулял дня три… Не хочу врать – помогали прикончить запасы питья мы с Сергеем Лукьянчиковым основательно.

Помню, получив кооперативную квартиру, поехал я в Москву к Саше за мебелью…

Прикатил с пачкой денег во внутреннем кармане куртки, толкался по Москве, дозвониться до Тихонова не мог. Решил пойти в баню попариться и так убить время.

В Центральных банях, когда подошла моя очередь, задумался – куда деньги девать?..

А деньги, по тем временам были немалые…

Решил сдать дежурному на хранение…

– Мужик, я тебе «бабки» оставлю…

– Сколько?..

– Три тысячи…

– Триста?..

– Нет… Три тысячи…

Достал из кармана пачку сотенных, разменял в Минске предусмотрительно, мужик начал считать…

– Две девятьсот…

– Там ровно три…

Пересчитывал он мои деньги раза четыре, всё не сходилось, наконец – сошлось и он положил их в баночку из-под монпансье…

Когда, попарившись, вышел, забрал деньги, вслед мне раздалось такое возмущённое:

– А, отблагодарить!..

Вот беда – у меня были только сотенные…

Ну, как-то разобрались…

Правда, мебель я не купил… Зато знатно попьянствовал с Сашей и двумя директорами магазинов – мотоциклетного и коврового…

Когда мы пришли в магазин «Ковры» – два директора сидели в подсобке, на огромном подиуме из ковров, дулись в очко и пили какое то поганое чернило…

Но вернёмся в Минск…

Не помню, в каком классе и по какому поводу появилась у нас в школе штанга…

Она стояла в спортзале и до неё никому не было дела. Первым взялся за неё Генка Хацкевич, тот самый, который нынче доктор математических наук. Он начал тягать железо вначале просто так, потом отдавался этому увлечению всё более серьёзно, потом к нему присоединился я, потом ещё кто-то, потом…

Потом мы все вместе записались в секцию штанги…

Правда, я там долго не пробыл, пришлось вернуться в борцовский зал, а Гена увлёкся штангой всерьёз…

Помню его первые соревнования… Генке нужно было сбросить килограмма три-четыре и он решил эту проблему совершенно оригинально – просто за неделю до соревнований перестал есть…

На взвешивании он попал в ту самую весовую категорию, в которую стремился, тут же пошёл в молочное кафе, нажрался как конь, вышел на помост и заработал все «баранки» какие только можно было заработать…

Короче, от сытного, после недельной голодовки обеда, не справился ни с одним начальным весом…

Ржали мы над ним долго. Потом я, умудренный борцовским опытом, объяснял ему, как нужно гонять вес, не теряя при этом силы.

Самое смешное во всей этой истории то, что Гена Хацкевич стал таки мастером спорта, но только по шашкам, выпустил несколько книг с шашечными задачами, выступал за Беларусь и, вообще, сделался шашечным мэтром…

Сказался, видимо, математический склад ума…

Не задалась у меня и карьера велосипедного гонщика…

Я долго делал свою первую машину. Настроил её как скрипку, а перед самым стартом, тренер отдал её кому-то другому, а мне выделил, нечто чудовищное, на чём я, используя

силу ног, уходил от пелетона в гору и, чуть не плача, пропускал всех вперёд по ровной дороге…

Обидевшись, велосипедную секцию бросил…

Потом были горы…

Не представляю, как отпускали меня родители, сопливого мальца, в мой первый маршрут по Кавказу. Мне было всего ничего – 15 лет…

Но, горы, братцы, горы!..

Это было такое чудо…

Вначале они приближались очень медленно. Из окна вагона было видно, как вдалеке клубится что-то тёмное – то ли горы, то ли облака…

Потом, утром, это тёмное вдруг превратилось в стену, потом поезд нашёл в этой стене проход и въехал в него, так что горы выросли «за ушами»… Потом…

Потом было много всякого, кладбища возле каждого альплагеря, ночёвки на ледниках, подъёмы по снежникам, когда забрасывали груз для промежуточных лагерей…

Но самое незабываемое – это чувство страха, которое испытал там же – в горах…

Страха такого, который сминает личность, уничтожает твою индивидуальность, превращает из человека в комок визжащей от ужаса плазмы…

Это случилось в конце маршрута. Мы выходили к шоссейной дороге, которая называлась Ингурийской тропой. Всё сложное и опасное осталось позади, можно было расслабиться… Эта расслабуха и подвела – вошли в облако, туман такой, что не видно вытянутой руки… Решили не «пороться» в тумане, разбить лагерь и по утру двинуться дальше. Руководитель группы, Слава, отправил меня на коши, к пастухам узнать дорогу…

Я тронулся налегке…

Спасибо Славе, сказал: «Возьми ледоруб»…

– Да, на кой он мне…

– Возьми-возьми… Пастухи уважают, кто с ледорубом…

Ледоруб и спас мне жизнь.

Я легко спускался вдоль ручья. Ручей был слева. В тумане сбился с пути и офонарел – ручей оказался справа… Но я то его не переходил…

Догадался, что был и второй ручей, справа, значительно позже, когда заблудился совсем.

Мир вдруг стал похож на плохие оперные декорации, звук вяз в тумане, куда идёшь было совершенно непонятно…

Неожиданно остановился на узкой, песчаной гряде. Ни слева, ни справа ничего не видно, туман… Может там пропасть, а может

пологий склон…

Вот тут-то мир и обрушился…

Был только непонятный визг, который бился в ушах… Через некоторое время, остатком сознания определил, что это мой визг, это я визжу… Врубив ледоруб между ног, обхватив его всем, чем только можно было обхватить, на гребне сидел кусок визжащего от ужаса мяса… Это был я… Потихоньку начал себя успокаивать… Лёг на пузо, зарубился острым клыком ледоруба, спустил ноги… Нащупал склон, сполз вниз… Сколько ещё падал, срывался, сколько раз благодарил Славу за ледоруб, пока не услыхал где-то вдали свист…

Заорал, говорят так, что у Славы глаза стали, как арбузы – оказывается весь день я бродил вокруг лагеря, а ребята были уверены, что сижу на коше, пью с пастухами айран…

Пришлось мне в жизни общаться с тремя стихиями – горами, морем и небом…

Дал себе зарок, что детям своим привью любовь к горам и морю, научу их любить и понимать эти стихии, так как люблю и понимаю сам…

Не давайте зароков.

Бесполезно.

Нельзя передать свой опыт, каждый должен торить свою тропу сам, сам ошибаться, сам осознавать и определять свой предел.

Было бы только куда возвращаться, был бы только дом, где тебя ждут…

ГЛАВА 15

Не помню в каком году, но где то сразу за нами, вселилась в наш дом семья Окуней, тётя Нина и дядя Арон с маленькой, как и наша Таня девочкой Долорес и отцом тёти Нины Израилем Хайетом…

Дядя Арон был строителем, во фронтовой жизни – сапёром, тётя Нина преподавала немецкий язык в пединституте.

Как-то так случилось, что мы подружились сразу и навсегда…

Вместе встречали все праздники, вместе ездили отдыхать на Нарочь, потом в Крым.

Должен сказать, что более надёжных, верных друзей у нас, пожалуй, и не было…

Сейчас семейство Окуней живёт-поживает в Америке, здоровы, счастливы, получают американскую пенсию и в своих, не очень частых письмах, тётя Нина не устает благодарить Америку за то, что приняла и пригрела их – изгоев…

Отъезд их был печален – родители мои понимали, что уходит часть жизни, какой то её пласт, который никогда не повторится, что увидеться в этой жизни уж не придётся…

Так и получилось – папы и мамы давно нет…

Всё-таки, жизнь у нас довольно поганая… Вечные стрессы, нервотрёпка, паршивая медицина – всё это не добавляет годов.

Когда началась эмиграция евреев, я был уже достаточно взрослый, однако никак не мог взять в толк, зачем они уезжают, ведь у нас так хорошо, так спокойно, так надёжно…

Что-то, однако, было, чего я не понимал…

Помню папиного приятеля Цваню Яковлевича Кипниса. Он был театральным художником, с папой же дружил, как дружили все, кто прошёл по дорогам войны…

А Цваня Яковлевич прошёл по ним основательно. Когда ходили на демонстрации в День Победы, сбор был возле ТЮЗа, там хороводились художники, актёры, писатели, пили в буфете водку, а мы, малышня, послевоенные детки, знакомились друг с другом. На сбор Цваня Яковлевич приходил с невиданным иконостасом орденов. Папа очень уважительно говорил, что был он фронтовым разведчиком, диверсантом, что его выбрасывали на парашюте в Норвегию…

В конце шестидесятых встретил Цваню Яковлевича на улице, как всегда, поклонился, поздоровался и вдруг он расплакался…

– Алик!.. У меня все ордена забрали… Как будто я не воевал… Как будто они мне их давали…

– Как забрали?.. За что?..

– Я уезжаю… Я еврейский художник… Меня приглашают быть главным художником еврейской оперы в Тель-Авиве… Как я могу отказаться, там мой народ, моя культура…

– Но при чём здесь ордена!..

Цваня Яковлевич поглядел на меня печально, сказал…

– Спасибо!.. Ты единственный, кто за последние три месяца подошёл ко мне на улице и не побоялся поздороваться…

Видит Бог, никакого геройства с моей стороны не было, я просто не мог не подойти к этому замечательному, уважаемому мной и отцом человеку.

Потом узнал, что такой же «беспредел» с лишением орденов, с исключением из партии, произошёл с уезжавшим кинорежиссёром Шульманом, лётчиком-штурмовиком, отцом Витьки Шульмана и с многими другими заслуженными людьми.

Человек, любой человек, имеет право жить там, где ему хорошо, там, где ему хочется. Я бы, наверно, не смог уехать из этой страны – они смогли, рискнули, не побоялись…

Потом отъезды пошли косяком… Уезжали, уезжали, уезжали…

Уезжал Борис Заборов… Великолепный художник. Мы Сергей Лукьянчиков, Юра Марухин пришли его провожать. Уезжал он в свой день рождения. Мы припёрлись не вовремя, слишком рано и долго манежились в Борисовой квартире не понимая, чего ждём… Мы то уж пришли, пора наливать…

Гости стали подгребать, когда стемнело и наружке было трудно следить, кто пришёл попрощаться с отъезжающим…

Дурак, я имел нахальство посетовать, что никогда более не поедет Борис на рыбалку на Мезень, куда имели они обыкновение ездить с Марухиным и Игорем Шкляревским…

Борис ездит рыбачит в Канаду, он самый покупаемый и самый дорогой художник на Западе, а здесь ему не было ходу, как книжный график последние годы в СССР он получал заказы только в Москве, благодаря Володе Зуйкову, блестящему художнику анимационного кино…

Господи! Сколько наших соотечественников уехало!.. Сколько их живёт на своей новой родине, сохраняя в душе незалеченную, кровоточащую рану… А может быть она давно затянулась?… Может быть давно и не вспоминают они об этой земле?..

В конце концов, имеют право…

Однажды в телепередаче «В баре «У Олега»» Наум Штутин, миф и легенда «Беларусьфильма», рассказывая о своих предках, обронил:

– До войны моя тётя получала переводы из-за границы в фунтах стерлингов, а после войны переводы перестали

приходить…

– От кого переводы, Наум?..

– От своего брата, Вейцмана…

– Кого, кого?..

– Ну, Вейцмана, Президента Израиля…

Я стоял совершенно офонаревший… Президент Израили родственник студийного маляра Наума Штутина…

– Ну, родственник… А, что тут такого…

А в самом деле, что тут такого… Если из одного маленького белорусского Пинска вышло аж четыре премьер-министра того же Израиля, если Лауреатов Нобелевской премии, выходцев из наших мест, на душу населения больше чем в России…

Недавно в книге Володи Орлова прочитал, что первая, точно датированная еврейская могила на белорусской земле, значится 980 годом…

Тысячу лет жили здесь евреи… Тысячелетняя история связывает наши народы… И, что, можно вот так, разом, взять и всё забыть?..

Неправда!

Это в крови, на генном уровне…

Когда я стал выездным, и смог первый раз поехать в Германию, удивился, никто из немцев не знает, что такое плюсквамперфект, а я знаю.

Говорить по-немецки не умею, но что такое плюсквамперфект, моя постоянная репетиторша в немецком языке, Нина Израилевна Окунь вбила в голову как следует…

Прекрасный повар, который работает сейчас в ресторане «Лукойла», серб Илья, поэт кулинарии, служивший шефом в лучших ресторанах Европы, был потрясён, когда я приготовил фаршированную рыбу по рецепту дедушки Хайета, и укормил ею весь его фешенебельный ресторан…

Ещё один герой моей передачи, замечательно певший древние еврейские псалмы, рассказал историю о том, как главный кантор Израили, перед которым он исполнял эти песнопения, с изумлением спросил у него, откуда он, белорусский мужик, знает эти мелодии, ответил…

– В моей бригаде маляров, работал бывший виленский кантор – вот он и научил…

Как всё переплетено, в этой жизни, как перепутаны судьбы в моём городе, какие встречаются неожиданности…

Когда исключали из Союза художников Бориса Заборова, я предложил выбить его имя и имя Марка Шагала на мраморной доске, все посчитали это не очень удачной шуткой, а, между тем, ничего шутливого в этом предложении не было…

Люди, которые помнят довоенные времена, рассказывают…

– Дети во дворах говорили друг с другом на трёх языках – белорусском, польском и еврейском…

Так повелось, что земля наша населена людьми разных национальностей, тут тебе и украинцы, и поляки, и литовцы, и русские, и евреи…

Одно слово – Великое княжество Русское, Литовское и Жемойтское – всякой твари по паре… Одни огородничали, татарские огороды до сих пор в моём городе, другие торговали, торговое сословие дореволюционной Беларуси – сплошь еврейское, третьи – были пахарями – и всем хватало места, всем хватало занятий…

Недавно ездил по каким то делам в местечко Лапичи, под Бобруйском… Столетний дед помнил всё – кто где жил, кто чем занимался, кто варил пиво, какие были ярмарки, где находились хедеры, где православные приходские школы… Умудрился даже привет передать в Америку, бывшим своим соседям на идиш…

Евреев в Лапичах не осталось…

Однако прохожие всё равно твердили…

– Евреи жить мешают!..

– Так нет же их…

– Всё равно – мешают…

Откуда взялась, откуда пришла на эту землю чёрная, бессмысленная злоба?..

Не знаю…

Мне, например, очень весело от того, что в любой столице мира, могу запросто встретить знакомых, друзей, которые росли на Немиге, на Толстова, Грушевке, сельхозпосёлке. Поэтому, когда говорят, что Минск город европейский – для меня это не пустые слова…

Воистину так!..

ГЛАВА 16

Ах! Друзья мои… Как хочется прошвырнуться по «броду»…

Не знаете, что это такое?.. По проспекту, Сталина, потом Ленина, теперь Скорины…

У нас, пацанов, он назывался Бродвеем, «бродом» и тянулся от Главпочты, до нынешнего метро Октябрьская, там поворот и назад до Главпочты…

«Брод» образовался тогда, когда расчистили огромную площадь Независимости, снесли кусок Советской улицы со старым домом, в котором был богатейший ювелирный магазин, а на углу Мясникова, напротив Бобруйского скверика деревянная церковь, возле которой всегда собирались во время салютов.

Приезжали солдаты, выстраивалось оцепление, доставались ракетницы… В небо палили из них, как в копеечку, а мы, мелюзга, подбирали с тротуаров зелёные, красные, жёлтые диски, с бугрящимися на них отметинами от бойков, да ещё остро пахнущие, сгоревшим порохом войлочные пыжи…

Церковь снесли, салюты прекратились, площадь отбабахали самую большую в Европе и образовался «Брод»… А, может, просто мы подросли и вошли в возраст…

Пройти по проспекту бывало довольно трудно… Казалось весь подростковый Минск собирался там, «шпацировали» туда-сюда ежедневно, без устали. Там встречались, там знакомились, там дрались, там влюблялись…

– Здорово!..

– Привет!..

– Как дела?..

– Что нового?..

Все, казалось, были знакомы со всеми, все друг друга знали, собирались толпами, стоял говор, хохот… Толпы распадались, чтобы образоваться снова, в ином составе, в ином месте…

Отсюда, из ГУМА, наблюдали за демонстрациями… Дядя Стёпа Пощастьев проводил ночью в магазин и можно было видеть и парад и демонстрацию…

Здесь стоял памятник вождю всех народов, который однажды ночью своротили танками… Говорят, что его автор Заир Исаакович Азгур, именно в это время возвращался с охоты и увидал своё творение, захлёстнутое за шею стальными тросами, увидал, как рухнул на мостовую бронзовый истукан…

Сюда, в кинотеатр «Центральный», убегали с лекций в кино, а вот здесь в арке центрального гастронома пили бочковой «Старопрамен», тоже, кстати, сбегая с лекций. За, непонятно

каким образом появившемся в Минске чешским пивом, выстраивалась очередь и, случалось, преподаватели Борис Мицкевич, Сырокваш просили «иметь их ввиду», что мы и делали…

Вот здесь, в магазине «Лакомка», у столика тогдашнего кафетерия, толкались неразлучные компании, пили молоко (именно – молоко!), лакомились булочками, пирожными и разговаривали, спорили, читали стихи…

Здесь я познакомился с одним из самых удивительных людей, Кимом Ивановичем Хадеевым, «Сысоем», «Полковником»… Он умер совсем недавно… Сколько же ему было тогда, в шестидесятом, когда он вышел после своей первой или второй отсидки и был окружён ореолом чего то запретного, недозволенного, опасного и невероятно притягательного…

Какие ребята кучковались вокруг него… Толя Пестрак, сын известного прозаика, Витька Генкин, сосед по дому, Еник Шидловский, Борис Галушко, Володя Двоскин, Витя Шульман, Валера Рубинчик, блестящая красотка Лиля Голод, Володя Буйняков…

Имена, имена…

Кого-то помню, кого-то, увы, позабыл…

Как-то ОРТ показывало передачу о российских бандитах в Америке… На экране благополучный переводчик на всех процессах, где американцы судят наших «братков»…

Ба! Да это же Кошкин… Знакомец юности, блестящий студент иняза, полиглот… Уважаемый гражданин США – никто в Америке лучше него не может понять и перевести на английский, пересыпанную «феней», речь российских мафиози…

Где-то здесь должен толкаться огромный Эрик Рубин, знаменитый тем, что участвовал в ограблении «золотого поезда» в Англии…

Тоже была передача, только никто не вспомнил, что в этом ограблении отметился и Эрик, что ловили его по всему свету, лет десять, поймали, посадили на пятнадцать лет, а он звонил из тюрьмы в Штаты Лёньке Зельдовичу и, в восторге от такой неслыханной возможности, орал в трубку…

– Лёня!… Ты знаешь откуда тебе звоню?.. Из «кичи» в Тель-Авиве, мне здесь пятнадцать лет дали…

И уж, совсем никто не знает, что освободился Эрик «условно-досрочно» и больной приехал умирать в Минск… Здесь он и похоронен, на Северном кладбище, кажется…

Здесь, на «броде» завязывалась в узел ещё одна легендарная судьба, достойная романа, или кинофильма, почище чем «Однажды в Америке». Судьба Володи «Феттера», имени называть

не стану, кто помнит его, поймёт, кто не знает, пусть не знает и дальше, права называть его имя не получал, потому воздержусь…

Много было в Володиной судьбе…

Был я свидетелем, как приезжали его резать за то, что «завязал», как жестоко расправился он однажды с одним «лохом», посмевшим обидеть Лилю Голод, как стал он одним из первых предпринимателей, ещё в те времена, когда за это самое предпринимательство, полагалась расстрельная статья…

Одно могу сказать – сегодня Володя, пацан, родившийся на одной из улочек, что таились в еврейском районе Немиги – по моему глубочайшему убеждению, один из богатейших людей планеты…

Здесь, на «броде», вот в этом самом скверике, где стоит памятник лётчику-герою Грицевцу, читал я Киму Ходееву свои первые стихи и был ошеломлён его безапеляционной оценкой…

– Ты, гениальный поэт…

Хватило ума не поверить…

А, может, зря!..

Впрочем, у Кима – все были гениальные – других не было…

За год до смерти, пригласил его к себе в передачу, спросил:

– Ким! Не гложет совесть, ведь многих ребят ты погубил?

Ответил…

– Нет, не гложет… Я предъявлял ко всем слишком высокие требования, впрочем, как и к себе…

Ответ жестокий, но по-своему правдивый.

Написал Ким за свою жизнь двадцать докторских диссертаций и более сотни кандидатских, так зарабатывал на жизнь, поскольку на работу его никуда не брали, кроме как сторожем на склад железобетонных конструкций, которые, поди укради…

Так и сидел по ночам Кимка на этом складе, кропал диссертации от психиатрии до экономики включительно – голова была энциклопедическая, хорошие университеты прошёл в сталинских лагерях…

Конечно, где же было нам устоять перед его информационным шквалом, перед безжалостными рассуждениями на все, самые запретные и немыслимые темы…

А, какие знакомые у него были…

Сонм имён, самых блестящих – все сидели, все друг с другом были знакомы…

Когда в очередной раз отправляли «Полковника» в психушку Витя Генкин, которого сняли с самолёта, привезли в «контору» на допрос, плакал и спрашивал, допрашивавшего его подполковника: «Чем я могу помочь Хадееву…».

А вины за Витей всего-то и было, читал «Архипелаг Гулаг»…

Сегодня – иди, читай…

Тогда же вынужден был Виктор уехать из Минска на долгие десять лет на Север, где работал на трассе бульдозеристом и экскаваторщиком, тянул газопровод «Дружба», пока не надорвал сердце и вскорости после окончания литературного института, выпустив всего одну книжку прозы, умер…

Говорят, не было в Минске диссидентского движения… Всё было тихо и благостно, все сидели, как мыши под вениками – это неправда…

Было диссидентство, но какое-то странное, сопротивление малолеток – наивных, чистых, готовых жертвовать собой ради друзей, веривших, что когда ни будь, всё будет не так…

Вот здесь на проспекте, на «броде» всё это начиналось, завязывалось…

Есть у нас в Беларуси одно «замечательное» человеческое качество, не помнить, или делать вид, что мы не помним ничего.

Дескать, всё замечательное, всё из ряда вон выходящее происходило и происходит где-то там, в чужих палестинах…

А, если присмотреться…

Судьба дворовой моей, дорогой, послевоенной шпаны клонировалась удивительным образом…

Одни пошли по тюрьмам за уголовку, другие вышли в люди…

Друзья юности – одни на Западе, на Востоке – преуспевающие и знаменитые, другие…

Кто сошёл в могилу до срока, кто живёт здесь невостребованный и забытый…

Не хочется прослыть злопыхателем, но удивительно, каждое новое поколение, считает, что история, культура начинается именно с него, что не является она единым потоком, приходящим из прошлого и продолжающимся в будущее, а только отдельно взятым отрезком, в котором умещается одна жизнь – его жизнь… Да даже и не вся жизнь, а сиюминутная её часть.

А, семена нашей юности, широко рассеялись по всему свету, в разных областях человеческого бытия – множество наших пацанов с Минского «брода»…

Даже со «свежим» Нобелевским лауреатом, Алфимовым, если бы потрепаться, многих знакомых припомнили бы…

Ведь учился он в знаменитой 42-й школе, ребят из которой мы не очень любили за заносчивость и отцов при должностях, но тем не менее были знакомы, общались, а потом, после окончания школы, сошлись в университетских аудиториях, на юношеских тусовках, здесь на минском «Бродвее»…

ГЛАВА 17

Не помню в каком классе, в школе у нас появился высокий, тощий, совершенно слепой старик, который начал набирать детей в театр-студию…

Среди пацанов пошли разговоры, что он был знаменитым режиссёром, работал с самим Радловым…

Кто такой Радлов – никто понятия не имел, но имя это передавалось таинственным полушёпотом…

– Представляешь… С самим Радловым…

Старик, заставлял приходивших к нему, читать стихи, брал за щёки, внимательно разглядывал лицо… Теперь-то я понимаю, что был он слеп, как крот, но тогда, даже этот его жест был преисполнен таинственности…

Шептались…

– Это от «юпитеров»… «Юпитеры» повредили зрение…

Какие «юпитеры», почему они повредили старику зрение – было непонятно, но таинственности добавляло…

Естественно, пройти мимо такого соблазна я не мог и пошёл записываться…

Странно… Сейчас всяческие школьные кружки, студии – в прошлом. Тогда – это было частью нашей жизни…

Толик Синица, старший брат Жоры, моего детского приятеля, пропавшего в тюрьме, не разделил судьбы младшего брата, по моему глубокому убеждению, только от того, что играл в духовом оркестре на огромной медной трубе… Целый день, в подъезде нашем гудел густой медный рёв – Толик репетировал…

В пятом классе, а может и раньше, папа отводил меня в Дворец пионеров к Сергею Петровичу Каткову. Удивительному человеку и гениальному педагогу. Он учил детей рисовать. Учил всю жизнь. И почти все художники моего возраста у него учились.

Был он маленький, кругленький, неистребимо весёлый и преданный детям.

Увы, художника из меня не получилось… Помню, что на первом же занятии я нарисовал замечательный танк, идущий в атаку. Сергей Петрович долго охал, ахал, восхищаясь, потом, видимо, шепнул что-то папе на ухо, по знакомству и мои художнические экзерсисы как-то уныло завяли…

Но школьный старик, не помню ни имени, ни звания, что-то во мне увидал и я был принят в театр-студию – так громко это называлось…

Более того – в первом же нашем спектакле по рассказу А. П. Чехова «Злоумышленник» я этого злоумышленника и играл.

Очень долго мы репетировали… Старик, может быть впервые в жизни почувствовав себя режиссёром, ругался требовал от нас точных жестов, правильной дикции…

Гортань до сих пор, сама помнит, знаменитое «шилишпёр»…

Шились костюмы, ставился свет, раскрашивались физиономии, клеились бороды и усы…

Всё было, как во всамделишном театре…

Девчонки, которые учились классом младше, ходили по школе, как настоящие «примы», со знанием дела рассуждали о сверхзадачах, системе Станиславского…

Я ничего в этом не смыслил и они обливали меня презрением…

Сегодня иногда их встречаю…

Актрис из них не получилось…

Единственной, кто из нашего школьного театра, стал настоящей актрисой, да ещё какой – Народной, знаменитой, всеми любимой – была Оля Клебанович – незаметная тогда и, подозреваю, так же как и я ничего не смыслившая в системах Станиславского…

Помню премьеру…

В актовом зале была маленькая сцена… На этой сцене впервые для меня открылся занавес…

Успех был ошеломительный. Полон зал детей, хохот, визг, восторг…

Мы все сразу стали достопримечательностью школы. Знаться с нами, водиться, дружить набивались многие…

Вот он – сладкий яд сцены…

Немудрено, что, поступив в Университет, первым делом записался в студенческий театр…

В 1961 году в Университете театры были почти на каждом факультете, но был и Главный, общеуниверситетский…

К моему студенчеству он ещё сохранил традиции Кузьмы Львовича Кулакова, который не один год им руководил, блестящего актёра Белорусского еврейского, потом Русского имени Горького театра…

Когда я пришёл в него поступать, Кузьмы Львовича уже не было, но традиции остались…

Много позднее, я узнал, что в этом же театре начинали – Игорь Михайлович Добролюбов, знаменитый белорусский кинорежиссёр, автор «Ивана Макаровича», «Белых рос» и многих других замечательных фильмов. Мы с ним подружились потом, когда началась моя киношная судьба; там же в студенческом театре начинали свою сценическую эпопею Римма Фёдоровна Маленченко, Володя Внуков, занимались в нём и многие ныне

знаменитые учёные, не связавшие свою судьбу со сценой…

Но это было до меня…

Когда я пришёл в театр, в качестве руководителя и режиссёра там подвизался самый настоящий театральный режиссёр (имени, увы, не помню), иными были и сцена и репетиции и, пожалуй, отбор в театр – отбоя от желающих не было, нужно было пройти по конкурсу… Да и пьеса репетировалась настоящая: «Вор в раю» Эдуардо дэ Филиппо…

Главную роль играл студен истфака Валерий Раевский…

Вот именно, который нынче возглавляет академический театр Янки Купалы. В нашем студенческом театре всё было взаправду – репетиции, антураж, гастроли…

Когда поменялся режиссёр и заканчивать спектакль ректорат нанял выпускника Белорусского театрально-художественного института (проклятый склероз! Не помню фамилию, хоть убейте…Помню только, что звали его Павел) начались у него таинственные шептания с Валерой, результатом которых стало то, что Валерий Раевский бросил свой истфак и поступил на первый курс режиссёрского факультета, правда, какое-то время продолжая премьерствовать в нашем театре…

Потом у него была стажировка в Москве, в театре на Таганке… До сих пор благодарен ему за то, что провёл меня на «Доброго человека из Сезуана» Брехта, самый первый нашумевший спектакль Москвы времён оттепели, дал возможность увидать в роли лётчика молодого В. Высоцкого, блестящую Славину…

Спасибо, Валера… Век не забуду…

Потом… Потом…

Потом пришло время моего премьерства. Было это в замечательной пьесе, которая называлась «Вестсайдская история» и, где уже ребята моего набора играли главную скрипку…

Мы с Томой Скудной (она сейчас актёрствует в витебском театре Якуба Колоса) вёли главную сексуальную линию спектакля – я играл Бернардо, она мою подружку… Члены моей «пуэрториканской» банды нынче прокуроры, следователи, доктора математики, тележурналисты, преподаватели словесности и даже, члены палаты представителей, но об этом позже…

Довелось мне в этом спектакле сыграть только премьеру…

Помню, каких трудов стоило в Минске, тех времён найти настоящие джинсы, но, нашли…

Премьера была сногсшибательной… Весь город только о ней и говорил… Билеты было достать невозможно… В специально отведенном ряду сидели и Ким Хадеев, и Борис Бурьян – ведущий

театральный критик газеты «Літаратура і Мастацтва», и Жора Колос (прошу «пардону», это потом он стал для меня Жора, когда сошлись наши журналистские пути, тогда же, конечно, Георгий)…

Помню, как Тони, Володя Сечейко, мой сценический противник, должен был выбежать из зала, в момент, когда драка между бандами была в самом разгаре. Володя, рванул из закулисья по «чёрным» лестницам, уткнулся в запертую дверь, второго этажа, метался по глухим закуткам, а мы всё это время дрались, уже без дураков, по настоящему, недоумевая – где Тони…

Он всё таки прорвался, то ли выбив окно и, спрыгнув со второго этажа на газон, то ли спустившись с крыши по пожарной лестнице (память не сохранила этого эпизода) и появился в то время, когда противоборствующие банды были в крови и соплях – драка из сценической, превратилась в самую настоящую, и тут же, немедленно и со вдохновением, был зарезан…

Как рыдала в этом месте вся женская половина зала, передать невозможно…

Увы! Больше Бернардо мне сыграть не довелось…

Настали другие времена, другие забавы…

Пришла пора КВН…

Потом выпускных экзаменов, потом армии…

Вернувшись из армии, я поглядел «Вестсайдскую историю», которая сохранилась, шла во всю…

Правда, другие были исполнители, другие Тони, Бернардо, другие лица в молодёжных бандах…

Вот к чему я всё это рассказываю…

В моём городе всегда было престижно заниматься искусством…

Я помню, как с вечера занимались очереди в Центральный книжный, поскольку точно было известно, что с утра будет открыта подписка на «Люди, годы, жизнь» Эренбурга…

Я помню, как в знаменитой курилке Ленинской библиотеки, где пропадали с утра до ночи, до хрипа в горле, до икоты спорили о феномене репортажей Василия Пескова в «Комсомолке…

Помню, как кучковались вокруг молодёжной редакции Белорусского телевидения, где Толя Пустоход формировал первую, славную команду КВН, которая «порвала» всех и, если бы в Москве не засудили, не отдали победу команде Московского нефтехимического института – вписала бы своё имя в скрижали…

Какие были игроки – Алик Бельзацкий, Дима Мохов, Витя Леденев, блестящий капитан Миша Полозов…

Когда сегодня празднуют сколькотолетие белорусского КВН, хочется крикнуть…

– Ребята!.. Вы что!.. Это начиналось на двадцать лет раньше… Чтите свою историю!..

Помню, как четверо первокурсников – Володя Посчастьев, Серёжа Волков, Ира Волкова и ваш покорный слуга, ошалев от неслыханного, понеслись в Москву, на только что открывшуюся, знаменитую потом, Хрущёвским разносом – «30 лет МОСХ»…

Февральской, морозной ночью, прямо с поезда, пришли мы к здания Манежа, где была расположена выставка и, вокруг которого, по периметру, стыла очередь – не за билетами, нет! – за талончиками на билеты и, поняв, что прорваться на выставку, нм не удастся, чуть не плача от разочарования, отчаявшись «ломанулись», через чёрный ход к одуревшему от просителей администратору…

– Дяденька, миленький, мы студенты-художники из Минска… Пустите на выставку…

Было, что то, видимо, невозможно трогательное в этих замёрзших птенцах, а, может, чувствовал «дяденька», что жить выставке недолго, а в памяти народной останется она навсегда, сжалился, пропустил…

Целый день – от открытия, до закрытия – бродили мы по ней – огромная была выставка, невиданная…

Вышли, покачиваясь… Как-то добрались к поезду, на Белорусский вокзал… Но горды были неимоверно, попали…

Выставка «30 лет МОСХ» и в самом деле стала исторической, вернее, вошла в историю – горжусь собой и сегодня, поскольку «дяденька, миленький…» поручено было произнести мне, сказалась актёрская подготовка…

К чему я всё это говорю?..

К чему вспоминаю давние давности?..

Жаль мне сегодняшних мальчиков и девочек, чем-то очень они обделены…

Морозными ночами, выставками, театральными премьерами, спорами в курилках, школьными театрами-студиями, стихами, наперебой читаемыми в скверике, знакомствами, любовью…

Город мой!..

Неужели смиришься с унылой ролью глубокой, серой провинции, где ничего не происходит, где нет талантливых, умных жителей, в котором некуда пойти любознательному, жадному до всего нового мальчику или девочке…

Провинции, в которую заезжают сомнительные гастролёры со своими программами второй свежести «косить капусту»…

Провинции, к которой относятся как к «стране бизонии»…

Друзья мои!..

Мальчики и девочки XXI столетия – обернитесь вокруг,

вглядитесь пристальней друг в друга…

Поверьте мне, старому, седому псу – мы были ничуть не лучше вас…

И время было ничуть не лучше и не хуже…

И город был таким же, может чуть меньше, чуть грязнее, впрочем, вряд ли – город наш всегда выделялся среди других, чистотой, порядком и интеллигентностью…

Всегда имел своё лицо и свою неистребимую, хоть и не броскую гордость!..

ГЛАВА 18

Это было новогодней ночью… Было принято у нас, часа в два-три, когда всё уже съедено, выпивка осталась, сидеть в доме скушно – выходить в город, в котором у замёрзших ёлок, собирались кучки праздничных людей, объединялись, расставались, веселились…

Мы вышли из дому с моей любимой, позднее ставшей, женой, родившей мне сына, женщиной и, на Центральной площади встретили совершенно незнакомого музыканта. О том, что он музыкант свидетельствовал огромный футляр с саксофоном. Он стоял, какой-то немыслимо одинокий, потерянный – «отлабал», видимо, в ресторане, а идти было некуда – в гости поздно, домой не к кому… Мы подошли и позвали с собой. Спустились вниз к купаловскому скверику, достали из сумки шампанское и, как сейчас помню, хрустальные фужеры, поставили всё это на снег, открыли вино…

Была тихая, звёздная, удивительно интимная ночь. С неба падали невесомые снежинки, падали прямо в фужеры и растворялись в вине. Было в этой ночи нечто волшебное. Может быть, что-то почувствовав – музыкант расстегнул футляр, сказал…

– Сейчас ребята…

Потом долго прилаживал трость, примеривался, настраивая инструмент и, наконец, заиграл…

Представьте – безмолвный город, бесшумно падающий снег, Новый год, парк, хрустальные фужеры в снегу и – тоскующий саксофон…

Я не знаю, кто был этот музыкант, я больше его не встречал, не знаю, как сложилась его судьба, откуда он появился, куда исчез…

Я помню только ночь, музыку, помню полноту чувств, единение всего сущего – зимы, города, музыки и любви…

Город мой! Я был бы нечестен если бы не рассказал о том, как я был влюблён, как ты был моим наперсником, слушателем, другом и утешителем. Все мои влюблённости, а их было не мало происходили при твоём молчаливом свидетельстве, ты был сводником, насмешником, верным, понимающим другом…

Когда проснулось первое ощущение того, что мир состоит из девочек и мальчиков, как это проявлялось, когда вместо простого интереса, вызванного некоей таинственной и немного стыдливой информированностью, возникло обжигающее чувство взрослой любви…

Передо мной – фотография… Мальчик лежит на земле, он в бушлате и картузе, рядом, на коленках – девочка с пухлыми щёчками…

Судя по всему, сделана она ещё на Красноармейской, во дворе барака, в котором мы тогда жили. Всё это детские, смешные влюблённости, которые переживает, пожалуй, каждый мальчик…

Когда началась пора взросления, когда появились интересы с которыми было бесполезно бороться родителям, город раскрыл перед нами, мальчишками, все свои соблазны, которыми в ту пору располагал. Соблазны назывались танцами. На танцы ходили стайками одноклассников, по субботам. Самые шикарные и для нас недоступные, поскольку посещали их девушки «на выданье» – были танцевальные вечера в Доме офицеров и клубе имени Дзержинского. Забредали, конечно, и туда, но было там неуютно. Девушки отличались от наших одноклассниц, были взрослее нас намного, поэтому можно было нарваться на пренебрежительное отношение. Интересы у них были другие, очень котировались молодые лейтенанты, которые и танцевать умели, не нам чета, да, и побогаче нас были -– запросто могли пригласить подруг в буфет, на бокал вина, могли отвезти девушку до дому на такси, одним словом, умели себя вести по взрослому.

На открытые площадки в парк Челюскинцев и парк Горького (он тогда не был детским парком) ходить тоже не любили. Там был свой мир, мир шепотов, шорохов, полутеней, которые раздавались, двигались в темных зарослях. В этом мире органично существовали немногословные ребятишки в кепчонках набекрень, которые нападали «кодлой» и, не имея своей, сплоченной компании, «отмахиваться» от них было сложно. Оставались вечера школьные, танцульки в заводских клубах и Дом профсоюзов. В школе было неинтересно. Всегда на страже было несколько учителок, которые внимательно наблюдали за поведением подопечных, ни прижаться поплотней в танце, ни уединиться в пустом классе было невозможно. Кроме того, директриса взяла моду приглашать на танцы суворовцев. Они приходили строем, охмуряли наших одноклассниц, строем же и уходили, после чего танцы тихо увядали. Обстановка в клубах камвольного и тонкосуконного комбинатов была попроще и, как ни странно, не смотря на наше малолетство, ощущали мы там себя на много комфортней. Дело в том, что в те времена, бурного демографического роста Минска, многие девочки убегали из колхозов куда глаза глядят. И было им, после окончания семилетки чуть за пятнадцать, наши сверстницы. При этом для них, деревенских, мы были хоть и недорослями, но недорослями столичными. Верхом демократии был Дом профсоюзов. Танцы

там были многолюдные, ходили люди всякие: и взрослые и школьники. Было шумно, весело, много знакомых ребят из других школ, с которыми встречались в спортивных секциях, на футболе, на комсомольском озере. Там не было драк, как на открытых «плешках» в парках, были буфеты попроще и подешевле, чем у «офицеров» и «дзержинцев». Короче – было «самое то»!

Иногда отправлялись в ресторан. Но, это уже было позднее в университетские времена. Иногда, смеясь, рассказываю свои детям, что невероятно богатым ощущал себя, когда выцыганив у родителей старую, еще до хрущовской денежной реформы, десятку, встречал девушку, у которой была пятерка и закатывались мы куда либо в «Радугу» или «Лето». Пятнадцати рублей нам хватало и на бутылку сухого, и на «мясные» салатики – что еще нужно студенту. Музыка гремела – в каждом ресторане был свой оркестр. Среди оркестрантов, кто-то учился в мединституте, кто-то из своих однокашников, университетских «сшибал копейку», «лабая» по вечерам в кабаках. Быть знакомым с музыкантами было невероятно шикарно и престижно. Но, правда, десятки перепадали не часто.

Мода на танцульки, как-то увяла. Интерес к ним пропал, сменившись иными, студенческими интересами.

За то, летом в нашем распоряжении с утра до позднего вечера был пляж на Комсомольском озере. Туда выбирались шумными компаниями, там встречали друзей, там «клеили» девушек, там был свой мир, где до одури, на вылет, гоняли в футбол, эдакий эквивалент сегодняшнего мини-футбола, который тогда попросту назывался «костянкой», поскольку, писаных правил не существовало. Команды, или «пульки», составлялись тут же, играли до трех голов, воротами служили опрокинутые садовые скамейки, можно было толкаться, пинаться, короче,– играть в «кость». Мелькали там иногда и мэтры из «Динамо», которые не гнушались потолкаться с непрофессионалами, но были и свои звезды, которые именно в этом пляжном виде спорта достигали вершин фантастических.

Там, на пляже у Комсомольского озера, заводились и мимолетные летние романы, но, иногда, завязывались узелки попрочнее. Во всяком случае, двое моих одноклассников именно там познакомились со своими будущими женами. Там можно было встретить очаровательную нашу университетскую преподавательницу с мужем, пригнать к ним лодку, покатать на «острова» и все это было совершенно естественно и мило. Может, просто молоды были!

Были в Минске и девушки совершенно недоступные. Они появлялись изредка, как феи, как видения. На них можно было

только смотреть с немым обожанием, что многие из нас и делали. Помню, одно такое видение шло по проспекту зимой, в немыслимой белой шубке и белой шапочке. Шло, не замечая никого вокруг. Только шепот стоял: «Генеральская дочка… Чемпионка по гимнастике… Манекенщица…». Видение прошло и исчезло, словно растворилось в падающем, медленном снегу. Растворилось на много-много лет, что бы однажды встретиться на ступеньках киностудии и неожиданно стать моей женой.

Другая недоступная девушка ко времени нашего знакомства была замужем за моим хорошим приятелем. У нее были необыкновенные зеленые глаза, изумительная, спортивная фигура и низкий голос, в котором хотелось просто раствориться. Вся наша компания, ее оберегала, она была, как талисман. Что бывало с теми, кому, не дай Бог, случалось ее обидеть, видел сам. Мало ему не показалось. Их в Минске было трое – старший брат Марк и младшие близнецы – Лиля и Борис. Когда уходил в армию и был уже пострижен наголо, упросил Витю Генкина, зайти попрощаться. Лиля встретила нас после душа. На ресницах еще висели капельки воды (такие у нее были ресницы). Она рассмеялась, чмокнула меня в щеку. Эти капельки воды на ресницах, помню всю жизнь.

И еще вот о чём хочу рассказать…

Однажды утром я стоял у окна моей квартиры, которое выходит на «слепой» закуток Молочного переулка, курил, размышлял о чём-то. По улице шла совсем молоденькая девушка, было ей на первый взгляд, лет семнадцать. Шла она с парнем, взяв его за руку. Он что-то рассказывал. Она слушала, слегка опустив головку. Потом подняла глаза…

Как она на него смотрела!

Сколько любви было в этом взгляде. Сколько нежности. Сколько доверия…

Нет! Пустые, плоские, ничего не объясняющие слова…

Было в этом взгляде – некая абсолютная саморастворённость юной женщины в своём мужчине. Абсолютное с ним единение. Что-то такое, от чего обожгло…

– Вот бы поглядел на меня, так кто либо… И всё!.. Помирать можно…

Сердце стиснуло, неслыханной завистью, какой-то почти зверячей тоской…

– Ах! Господи!.. Почему не мне, почему не для меня этот взгляд…

Они прошли, исчезли за углом. Я долго стоял у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. Запомнил этот взгляд, Запомнил раскосые, миндалевидные глаза, глядящие чуть снизу

вверх, их тепло, восторг, нежность…

Прошли годы, неожиданно мы столкнулись во дворе. Оказалось! Вот диво… Она живёт в соседнем доме, учится на режиссёра в институте через дорогу, каждое утро гуляет с собачкой…

Я плёл что-то успокаивающее, я говорил, что не нужно меня бояться, что я живу вот здесь, вот мои окна, что я женат, что я рассказывал жене о том случае, который так врезался мне в память. Мы подружились с этой девушкой, я давно, оказывается, был знаком с её родителями, она дружила, даже была одно время влюблена, в сына моего закадычного приятеля Володи Внукова, она снималась в фильме Саши Карпова…

Жизнь, словно насмехаясь, водила нас по параллельным дорожкам, которые, как известно, не пересекаются. Потом, я был крёстным у её дочери, ровесницы моей младшенькой Ани, мы крепко и хорошо сдружились семьями. Я, одно время, пытался помогать ей, молодой актрисе ТЮЗа, как-то выбиться из нищеты, рекомендовал её для съёмок в рекламе, рекомендовал в ведущие минских кинофестивалей…

Она выбрала свою дорогу, сейчас у неё своё дело в Москве, семья, достаток – всё в порядке… Эдакая «бизнесвумен»…

Но взгляд!.. Чудесный, лучистый, не ко мне, увы, обращённый до сих пор у меня перед глазами…

Скажите мне, что я придурок и я соглашусь, пожалуй…

Но разве не из таких почти мистических, почти неправдоподобных, волшебных случаев складывается, как из мозаики, человеческая жизнь, внутренний мир человека?

Иногда он и сам не подозревает, как много для него значит взгляд, слово, жест случайного человека на улице. Как меняет он жизнь, уклад, привычки…

Гениально рассказал об этом молдавский режиссёр Карасик, снявший кино, которое называлось «Любить»…

Может быть, кто-то вспомнит этот кадр…

Девушка пришла на свидание в кафе. Но «рандеву» по какой-то причине не состоялось и, по всей видимости, ждать бесполезно. И взгляд. В камеру, просто в диафрагму. Какой взгляд! Такое невозможно сыграть, только подсмотреть. В нем вся жизнь женщины – надежды, разочарование, беспечность, прощание с любовью и надежда, надежда, надежда…

Город мой,– шалун и мистификатор! – я благодарю тебя за то, что подарил мне то, что называется «любовью», и то, что на языке, который, увы, редко услышишь на твоих улицах, зовется «каханнем».

Благодарю тебя за мою юность. Благодарю за то, что не

очерствело сердце, что все еще внятен ему язык прикосновений, взглядов, внятны шепот, звон хрустальных бокалов в новогоднюю ночь, безмолвие снежинок, тихо падающих в вино.

ГЛАВА 19

Вся моя жизнь прошла в этом городе… Из Минска я никогда и никуда не переезжал. Уезжал – бывало – но, только на время. Самая длительная моя отлучка из родного города – на службу в Вооружённых силах. Это отдельная история – безумно забавная, служить я пошёл уже после окончания университета, поэтому видел всё, что творилось в армии глазами, если не мужа, то уж, далеко не мальчика…

Но – время армейских историй ещё не приспело, отложим пока…

Первые мои отлучки из Минска, были связаны с бабушкой, со Слуцком…

Если кому-либо сегодня рассказать, что от Минска до Слуцка, равно как и то Слуцка в Минск, в конце сороковых нужно было добираться чуть ли не сутки – засмеют, не поверят… И тем не менее…

Бабушка – Ульяна Степановна и дед Спироидон переехали в Слуцк в середине 20 годов, мама у них уже была, из села Ворковичи, как повествует семейное предание – села богатого. Подозреваю, что с этим переездом было не так всё просто, скорее всего они убегали – бабушка была из богатой еврейской семьи, хотя еврейкой не была. История её туманна. Она была подкидышем. Подкинули её в дом богатых, торговых евреев, которые и удочерили девочку, воспитывали, как родную и всё хозяйство оставили в наследство…

Что за этим скрывалось, какая семейная драма – не знаю, всю жизнь собирался поехать в эти самые Ворковичи – не хватало времени. А следовало бы!..

Дед был бабушки моложе, семейная молва глухо свидетельствует, что до бабушки у него была семья, или некая любовная драма, которая отразилась на всей его жизни… Дед – крепко пил. Пил, то ли оттого, что сапожнику положено было пить, то ли оттого, что какой-то червь точил его всю жизнь.

Тем не менее, семья была большая – семеро детей, да ещё пару младенцев померло…

Бабушка была человеком тишайшим и богомольным. До сих пор стоит в ушах негромкий стук по утрам – молилась бабушка истово, отбивая земные поклоны…

У деда, пристроенная к хлеву, была маленькая сапожная мастерская – откуда раздавался, уже днём, совершенно иной стук – стук сапожного молотка, которым дед вбивал в подмётки дубовые, самодельные гвозди…

Он сидел на низкой табуретке, в брезентовом переднике, зажав между ног, сапожную «лапу», с натянутой на неё колодкой, рот был полон гвоздей, которые он вбивал одним ловким ударом. Руки – большие и корявые были порезаны дратвой – вощил он её сам, протягивая сквозь кусок воска…

В мастерской деда очень вкусно пахло – кожей, воском, деревом и самосадом, курил он много и только свой, на печи просушенный табак…

У бабушки была корова, поэтому первые годы после рождения до 47-го я прожил возле коровы, у бабушки и потом, каждое лето приезжал к ней отпиваться парным молоком, отчего с детства был мальчиком нехилым…

Дед был знаменит на весь Слуцк, как сапожник – замечательный, пьяница – беспробудный и выдумщик – фантастический…

До сих пор в Слуцке рассказывают историю о том, как дед Спиридон пропил сапоги у маршала Жукова. Жуков – это факт известный – командовал кавалерийским полком, который стоял в Слуцке. Казармы были на левом берегу Случи, от нашей Красноармейской – через конный брод. Адъютант комполка привёз деду «материал» для «постройки» сапог – подмётки, хром… Сапоги дед тачал знатные – между верхом и подкладкой вшивая рыбьи пузыри, которые выполняли роль своеобразной мембраны – ноги не потели, а воду сапоги не пропускали. Будущему Маршалу не повезло – материал дед незамедлительно пропил. Адъютант приезжал раза три, дед прятался. Приехал сам командир – деда не застал. Так и пришлось Жукову ехать на Халхин-Гол без новых сапог…

А, вот эта история мне уже памятна…

Красноармейская улица в Слуцке была заселена наполовину православными, наполовину евреями. Жил на ней контуженный еврей-кавалерист. Дедов постоянный собутыльник. Когда забулдыгам не за что было выпить, кавалерист приходил к деду и говорил: «Спиридон, давай «отшмалим» номер»…

Дед соглашался, залезал верхом на приятеля и тот с гиканьем возил его по улице…

Набегали евреи и начинали стыдить соплеменника: «Как тебе не стыдно этого пьяницу Спиридона на себе возить»? На, что тот резонно замечал: «Так он мне денег дал…». Евреи, посовещавшись, говорили: «Мы тебе вдвое дадим, только не срамись»… Кавалерист брал деньги и они, вместе с дедом, шли их пропивать…

Папа, вернувшись с войны, утомлённый дедовым непотребным пьянством, решил перехватить у него «бизнес»,

организовал маминых братьев, вернувшихся с фронта: дядю Аркадия и дядю Колю в бригаду, отстранил деда от дел. Закончилось это плачевно… Натачав сапог и башмаков, бригада сбыла их на базаре, закупила товару для следующей порции… Правильно! Утром не было ни денег, ни товара – разбушевавшийся дед гонял сыновей-ренегатов по двору, оглашая окрестности, любимой своей фразой: «Ну, что, собачеки, выкусили!..»

Именно после этого случая, папа и засобирался в Минск.

Посреди бабушкиного двора стояла огромная груша – до сих пор помню её название и, когда на базаре нарываюсь на «слуцкую бэру» – всегда покупаю, фрукт сочности и сладости неимоверной.

Под грушей стоял хлев с кабанчиком м коровой. Между перекрытием хлева и крышей был сеновал. Валяться на сене, следить за роящимися в лучах солнца пылинками и ждать, когда придёт с подойником бабушка и зазвенят о жестяное дно тугие молочные струи было любимым занятием, равно как спускаться по лестнице вниз и пить пенное молоко взахлёб, прямо из ведре, от пуза…

Было в бабушкином доме ещё одно чудо – огромная русская печь с лежанкой. Мы с дедом всё время спорили, кому спать на печи. Спорили до тех пор, пока не устраивались на расстеленных кожухах вдвоём, и сладко млели, засыпая под стрёкот кузнечика.

Однажды, провалившись под лёд на Случи прибежал домой, как ледышка – спасла печь. Утром после молитвы, бабушка «щепала» лучину, растапливала печь, гремела ухватами и чугунами, что-то «скварчело» на сковороде – дом заполнялся фантастическими ароматами…

Между двумя комнатами, примыкая к кухне, был чулан. В нём была лестница на чердак. Лазить на него, мне было запрещено. Но я лазил. На чердаке валялась всякая рухлядь. Старые сундуки, коробки, ломаная мебель. Это было ещё одно тайное моё место – там, на чердаке, я был и разведчиком, наблюдая за домом соседей Киркевичей, и отважным моряком, и лётчиком. Там, стащив у дяди Виктора, который заканчивал восьмой класс сигару (почему сигару? откуда сигару?) накурился впервые до одури, до тошноты, до зелёных кругов перед глазами – еле откачали…

Когда дед умер, бабушка пустила квартирантов, двоих тихих печальных старушек, которые заняли лучшую, самую большую комнату, в которой жили и мастерили бумажные цветы. Наворачивали из рифлёной, цветной бумаги на медную проволочку лепестки, потом всё сооружение макали в расплавленный воск или стеарин и раскладывали по комнате для

просушки. Запах стоял божественный в прямом и переносном смысле. Думаю, что потом из этих цветочков мастерили венки для похорон…

По вечерам пили чай, под тряпичным абажуром из самовара, разливая его по в блюдечкам.

Божественных разговоров бабушка со мной не вела. Молилась само, тихонько, не пытаясь меня приобщить. Думаю, что было это ей строго запрещено моими родителями атеистами… Не уверен, правда, что были они твердокаменными атеистами, но, поскольку, состояли в коммунистической партии, иметь мать богомолку было небезопасно…

Один разговор, однако, помню. Мы с бабушкой готовились варить варенье из вишен. Сидели рядом и выковыривали булавками косточки из спелых, сочных ягод.

Начало разговора не запомнилось, помню с полуслова, с полуфразы. Я спросил: «Так, что же и суворовцы, может, в Бога верят?..»

Суворовцы, как понимаете, был непререкаемый авторитет…

Бабушка ответила: «Хто ж іх ведае… Можа і вераць, пра сябе…»

Тайной осталось для меня – крестила ли меня бабушка. Подозреваю, что непременно… Но скорее всего тайно, вечером, снесла в церковь… На всякий случай, уже взрослым, крестился ещё раз – священник сказал – если уверенности нет, не грешно перекреститься…

Когда умерла и бабушка, дом достался дяде Аркадию, так решил папа – все братья и сёстры перебрались в Минск, кроме него. Он и остался «на батьковщине», продав свой дом и выплатив всем их долю…

Вечером, после бабушкиных похорон, долго спорили родичи в большой комнате, в которой запах воска, казалось, въелся в стены. Спорили, выясняли, скандалили… Однако, папа принял решение – он был старшим в семье…

Дядя Аркадий остался в Слуцке, к нему приезжал реже – у него была своя семья, своя жизнь.

Помню только как перед Новым годом приезжали «на свежину». Когда читал повесть Толи Стрельцова «Смаленне чорнага вепрука” – чуть не плакал, про меня, про детство, про бабушкин дом…

Мужчины выходили утром на крыльцо, беседовали, курили, ждали резчика. Он жил по нашей же улице, через два дома. Приходил не спеша. Под мышкой было несколько ножей. Узких, длинных, хорошо отточенных…

Ножи были страшные.

Шли в загородку. Меня туда не пускали. Некоторое время там было тихо, потом короткий то ли вскрик, то ли визг…

После этого мне можно было идти… Туша лежала на лавке, в печи кипели вёдра с водой, была заготовлена сухая солома. Смолили, обкладывая тушу соломой, поджигая её, потом поливали кипятком, скоблили… И так по несколько раз, до белизны, до розовости… Потом разделывали, тащили в дом квадраты сала, которое тут же солилось и складывалось в короба. Мясо лежало повсюду и как-то тревожно пахло – теперь понимаю – кровью, ушедшей жизнью. Набивались колбасы, настоящие, пальцем пханые, жарилась кровянка с гречневой кашей, рядом на огромных сковородах бушевали куски сала с прослойками мяса по-белорусски «скварка», по научному – бекон… Только к ночи, всё было готово, кумпяки посолены, паляндвицы, обмотаны полотняными тряпками и подвешены для вяления – можно было садиться за стол.

Вот уж, обжорство было!.. Вот уж, пьянство!.. Магазинная водка не признавалась – только самодельная, своя, самогон… Для собственного употребления сделанный. без сахара, чистый хлеб, двойной выгонки – градусов под семьдесят…

Такое обжорство, раблезианское, безудержное испытал ещё раз, когда ездили с папой по его родине, Украине, искали могилу его мамы, бабушки Марии, которая не дождалась сына с войны всего-ничего и заезжали к папиным двоюродным братам, которые, бывает же, сапожничали в коком-то украинском колхозе и держали сто ульев пчёл…

Там – резалось всё подряд, свиньи, бараны, утки, гуси… Закидывался в ставок невод и вытаскивались все караси, которые в ставке имели место быть, покупалась бочка пива, выставлялась медовуха, мёд в сотах, мёд в мисках. В мисках же без счёта фруктовые кисели…

Электричества не было. Горели во дворе керосиновые лампы. Я был при бочке с пивом и насосе, наполнял глечики – здесь, впервые надрался вдрызг, обманутый пенным напитком и спровоцированный родительским невниманием.

Нашли ли бабушкину могилу?..

Не знаю…

Есть фотография – стоим все у холмика и железного креста. Без надписи – родичи папины говорили – вроде здесь, а где точно – Бог его знает…

Вообще история папиной семьи – отдельная история. Думаю, что она созвучна истории деда Спиридона и типична для многих крестьянских семей, порушенных, покорёженных большевиками и их сатанинской коллективизацией.

Однако, как бы ни было хорошо в гостях, всегда приходится возвращаться домой. Как бы надолго я не уезжал, всегда возвращался в Минск.

Когда вернулся из армии, вышел в аэропорту из самолёта, кто-то предупредил: «Застегнись! Патруль»…

Застёгиваться не стал. На патруль как раз и нарвался… Майор долго вертел в руках документы…

– Товарищ майор, да мне две остановки троллейбусом до дома… Я на Московской живу…

– Отправлю на губу на пять суток, будет тебе Московская…

Дело было 26 декабря… Так уж меня «дембельнули»…

– Давай!.. Отправляй!… – почти заблажил. Хорошо солдатики патрульные, понимая моё состояние, оттёрли в сторону. «отмазали»…

– Иди, земляк, иди… Не заедайся…

Я и пошёл, дома закинул шинелку в один угол, сапоги в другой, переоделся в цивильное, выскочил на мою Московскую, встретил кого-то знакомого. Он спрашивает: «Олег! Привет!.. Что-то тебя давно не видно было?..»

Ну, мать твою, давно… Для меня кусок жизни, для него – «давно не видно»…

Друзья мои! Возвращаться домой – это замечательно!

Был бы только дом… Было бы куда возвращаться…

ГЛАВА 20

Как-то, приехал в Минск мой английский продюсер. Переговоры, переговорами, контракты, контрактами, но и пообедать не мешает…

Первый раз повёл я его обедать в ресторан гостиницы «Минск». Гляжу – мой, не первой молодости, господин, слегка поковырялся в салате, с интересом поглядел на чёрствый хлеб, сказал,– большое спасибо,– и пошёл спать голодный.

– Да! – подумал,– Вот, уж, действительно, что русскому (белорусскому) хорошо – то немцу (англичанину) смерть…

На завтра, подписав все деловые бумаги, решил не ударить лицом в грязь – повести моего переборчивого гостя в хороший ресторан. Перебрал всё, что знал – повёл в приличный, как я считал, в соседнем доме с костёлом святых Алены и Сымона.

Заказал мой старичок бульончик, паровую котлетку, фужер сухого, белого вина… Я сделал вид, что сыт – кружку пива и чего-то солёненького. Поужинали скромненько, пришла пора расплачиваться. Счёт – на блюдечке, официант – руку за спину, стоит – склонив головку, как в лучших домах…

Глянул я на счёт – дурно стало – хорошо, идя на ужин, выскреб всё, что дома было, да ещё у друзей призанял. А, мой лондонский партнёр пристал, как банный лист,– Сколько заплатил? Отнекивался, отшучивался, потом не выдержал – брякнул… Тут, уж, пришла пора англичанина измениться в лице,– Олег! Этого не может быть… За такие деньги мы бы в Лондоне три дня ни в чём бы себе не отказывали…

– Таки, да! – подумал… Перебрал, вспомнил, где да как бывал в заграничном общепите,– Чтоб я так жил,– нигде такой суммы, за такой ужин не выкладывал…

Когда был маленьким, ходили мы семьёй, каждые выходные обедать в ресторан. Борщ, настоящий, украинский – ели на перроне вокзала. Покупали перронные билеты, столики, стояли на улице, борщ был фантастический – любая хохлушка не постеснялась бы под таким подписаться.

В старой «Беларуси», ныне «Свислочи» – любили заказывать эскалопы. Причём, приглашали из кухни шеф-повара, долго обсуждали достоинства свиной вырезки, степень прожаренности сухариков – это входило в ритуал и «шеф» был счастлив, к нему пришёл знаток, гурман, знающий толк в кулинарии.

В те времена мы были не богаты, но, всё равно, такие походы, были нам по карману, семейного бюджета – не рушили.

Когда стал постарше – было заведено ездить в аэропорт,

кушать солянку. Лучше тамошнего ресторана её нигде не готовили. Ездили большими компаниями, и никогда это не было накладно.

Во время многих поездок по Беларуси, непременно заходил в маленькие придорожные ресторанчики, каждый имел своё кулинарное лицо – в Ивацевичах одно, в Гродно – другое. Пишу, «кулинарное лицо» потому, что внешний вид и интерьер, были, как раз, с одного копыла, но кухня – в каждом особенная…

Куда она подевалась?.. Почему белорусским, национальным блюдом стали шашлыки из говядины?..

Кулинария – часть национальной культуры. Часть неотъемлемая, как язык, как музыка, как танцы. Шеф-повар – композитор, дирижёр, художник. Композитор имеет дело с семью нотами, из которых складывает и песню, и симфонию, и оперу. Художник – оперирует семью чистыми колерами, творя из них всё многоцветье оттенков. У кулинара – тот же количественный набор вкусов, да ещё запахи, да ещё сервировка… Воистину – не ценим мы кулинарию, не держим повара за поэта.

В былые времена – ездили в Тракай на обед – поесть караимских пирожков. Ездили, как, бывало, на потрясающие выставки литовской графики, ездили, как на органные концерты в Домском соборе, в Риге. Это было из одной оперы – караимские пирожки в Тракае, выставки в Вильнюсе, концерты в Риге. Там в этом маленьком кафе встречал друзей из Украины, Эстонии, России – караимское кафе знали все…

В Ташкенте – коллега, режиссёр анимационного кино, учил меня варить плов. Он был из семьи плововаров – пятьсот лет его предки готовили плов для семейных узбекских торжеств. Его дед – первый шеф-повар ресторана «Узбекистан» в Москве. Коллега знал триста рецептов плова и переживал, что не запомнил всего, что умел дед.

Отсутствие белорусской кухни ошеломляет. Как будто никогда не было традиций, как будто не умели хорошо поесть и выпить в белорусских корчмах и шинках, как будто не переплелись на нашей земле раблезианскиое умельство литовских, еврейских, татарских кухмистеров.

Пройдитесь по Минску, поищите ресторан с национальной кухней – не найдёте.

Во всём мире – это достопримечательность, место куда непременно поведут вас гостеприимные хозяева.

В Бремене, непременно сводят в «матрозенкнайпе» в самом начале улицы ремесленников, чтобы попробовать настоящего, замороженного до густоты, до изморози на лафитничках, шнапса и тушёных свиных ножек.

В Копенгагене – в знаменитый, которому три столетия, рыбный ресторан – посмаковать лобстеров, мидий, креветок…

В Братиславе – поднимут на самую высокую гору в городе, в старинную (под старину) «колыбу», в которой тут же, при вас, на открытом очаге пожарят котлеты по-разбойничьи, упоят пивом с солёненькими разнообразными канапками, а, в благодарность за то, что посетили, за счёт заведения, нальют, при выходе, ладный стаканчик «боровички».

Не доезжая до границы между Польшей и Словакией, на горе стоит придорожный ресторанчик – нигде не едал более вкусных «голонок».

Снимая кино о советской сборной по биатлону, в Бакуриани – ездили кушать «хаши» в соседний Боржоми, даже не в ресторан, в придороджную «стекляшку». И там, как положено, перед «тазиком», всю ночь варившейся, потрясающей похлёбки, вместе с толчёным чесноком – подавали сто граммов водки – и попробуйте не выпить – не то, что обидятся, не простят нарушения ритуала.

В шесть утра приезжали в эту «стекляшку», после недельного свадебного обжорства и пьянства, гости, чтобы придти в себя – сто граммов водки и густейший, с разваренным рубцом «хаши» – мгновенно приводили в себя, протрезвляли кого угодно.

Как-то приехали в Минск венгерские коллеги. Телевизионщики и кинематографисты. Я не стал пускать им пыль в глаза,не повёл в дорогие рестораны, позвонил хозяину маленькой кухмистерской «Луна», что была на моей Московской, тоже, кстати, бывшему киношнику,– Саша! Приду к тебе в гости с венгерскими коллегами…

До сих пор вспоминают. А, люди были ушлые, один – коммерческий директор «Мафильма», объездивший весь мир, гурман и знаток. Другой, вообще, богач с европейским именем. Когда я был у него в Будапеште «в адведках», в знак особого уважения повёз в деревенскую харчевню, где ели настоящий огненный гуляш и запивали, единственным напитком достойным этой замечательной еды – домашней «паленкой» из абрикосов, всё интересовался,– Как поживает, хозяин чудесного ресторана «Луна»?

Что я мог ему сказать… Что «Луна» закрылась, хозяин не выдержал конкуренции – нужно было либо поднимать цены, либо покупать продукты подешевле, «второй свежести» и травить клиентов…

Живёт в Минске замечательный повар Илья. Сам он серб. Работал в лучших европейских ресторанах. Знает европейскую кухню от и до. Мастер. Поэт. Когда он готовил, я наблюдал за ним, как за солистом в балете. А я поразил его, когда приготовил

фаршированную рыбу по рецепту дяди Изи Хайета. Такого рецепта Илья не знал. Вся «обслуга» его ресторана собралась на дегустацию, все охали, ахали, восхищались невиданным блюдом. Была это «рыба-фиш», приготовленная так, как готовили её в моём городе старые евреи. В нынешнем ресторане, претендующем на звание еврейского, этого рецепта тоже не знают. Мой приятель Миша – шеф-повар ресторана «Печки-лавочки» – прекрасный, кстати, повар, лауреат кулинарных конкурсов, собиратель старинных литовских рецептов, попросил «списать слова» – тонкостей рецептуры не знал.

Недалеко от Комаровки, под открытым небом, у входа в клуб «Реактор» стоит мангал Вартана. Познакомился с ним, когда увидал, что печёт он на углях молодые початки кукурузы. Попробовал, восхитился, спросил,– В какой земле придумали такой способ готовить кукурузные початки?..

Вартан улыбнулся, пошутил,– Всё путное придумывают или евреи, или армяне…

Иногда захожу к Вартану, возвращаясь с базара – у него потрясающие люля-кебабы, моя дочь их очень любит. Я же, люблю поговорить с Вартаном – как выяснилось он знаком с моими друзьями в Ереване, блестящим аниматором Робертом Саакянцем и его женой Люлей…

Друзья мои – застольный разговор – неотъемлемая часть ритуала, не зря же в нашем родном языке дружеское застолье называется «бяседа».

В германском Висбадене, специально ходил в греческую «забегаловку», «побеседовать» со скучающим без клиентов хозяином- греком. Уж, на каком языке мы с ним говорили – бог весть, но понимали друг друга замечательно. Разговаривали и об «ортодоксальной» церкви – так на Западе называют православную церковь, к которой мы оба с тем греком принадлежим, и о достоинствах маслин, и о специальных греческих сортах сыра, о вине, само-собой…

Почему я вспоминаю все эти маленькие забегаловки, кафешки, ресторанчики?.. У них было своё лицо. Свой колорит, свой аромат, свои кулинарные секреты и тонкости. Посещать их – следовало со смыслом, с толком, с расстановкой. Это не были огромные плацдармы на тысячу посадочных мест, в которых ни поварам, ни официантам, ни «мэтрам» нет времени, да и желания нет, заниматься каждым отдельным посетителем. Пришёл, пожрал, напился и будь здоров – освободи место для следующего… А, тут ещё, музыка гремит, девицы распаренные отплясывают – конвейер, поток – какая «бяседа»…

Еда, вкушение еды – вещь глубоко интимная,

священнодействие. Почитайте Гиляровского, вникните в волшебный ритуал московских трактиров с их меню, рассуждениями о достоинствах той или иной кухни, со специализацией трактиров – там расстегаи, там сёмга провесная, там грибочки солёные – это всё элементы русской культуры, пропавшей, погибшей, уничтоженной большевиками, но возрождаемой сегодня.

На пол-дороге из Боржоми в Бакуриани, водитель автобуса обычно останавливался, говорил,– Папарашу выйти!.. Здэсь таварыщ Сталин хлеб кушал…

Ритуал повторялся и на обратной дороге из Боржоми в Бакуриани… Совершенно безразлично было, как ты относишься к товарищу Сталину – ритуал, входил в программу дегустации «хаши».

Как всякий ритуал, только тогда не бывает казённым «отбыванием номера», когда он не массовый, когда видишь глаза собеседника, когда говоришь негромко, не стараешься перекричать шум оркестра, когда он «имеет место быть» в небольшом, уютном помещении, а не в «танцедроме». Короче, совсем не тогда, когда собирается тысячная толпа, жующих и пьющих…

Он возможен только в небольших, частных заведениях – тех самых кафешках, забегаловках, ресторанчиках, которые, чтобы привлечь посетителей стараются и цены снизить, и иметь неповторимое, национальное лицо…

Во всём мире самые вкусные и дешёвые рестораны – китайские и итальянские. В них самое лучшее обслуживание, самые внимательные официанты, самые доброжелательные повара…

Однажды в Германии мы с женой, уезжая, решили попрощаться с теми заведениями, где нам было хорошо. Зашли в итальянский ресторан. Официант вышел навстречу и, приветствуя нас, почти пропел,– О, мадам, грюн… Грюн…

Жена была ошеломлена, в этот ресторанчик мы зашли в первый, по приезде, было это десять дней назад, и она заказала, множество салатов, зелени… Спросила,– Олег, он, что меня запомнил?..

– Конечно!.. Профессиональная память… Кроме того, он в самом деле нам рад, рад каждому посетителю…

Я хочу, чтобы в моём городе было всего много, что бы в нём хватало места, поэту европейской кухни, сербу Илье, армянину Вартану, чтобы были в нём японские чайные домики, китайские ресторанчики, что бы меня узнавали итальянские официанты, что бы в благодарность за посещение, наливали на посошок

«боровички» в словацком кафе, но, главное, я хочу, чтобы мне, было куда сводить друзей, желающих попробовать блюда белорусской национальной кухни…

Чтобы, можно было попробовать и «мачанне», и «смажни», и литовскую медовуху, и еврейскую фаршированную рыбу и татарские слоёные пирожки с крупно нарезанной бараниной, плавающей в собственном жиру.

Я не знаю, как этого добиться, но хочу, чтобы в эти рестораны, кафе, корчмы – можно было ходить семьёй в воскресный день, чтобы это было по карману минчанам…

Многого хочу?!..

…Кстати, там в самом шикарном ресторане Братиславы, в «колыбе» – нас было шестеро, обедали мы, ни в чём себе не отказывая, часов пять, заплатили чуть меньше шестидесяти условных единиц…

– Прикиньте,– как нынче говорят…

ГЛАВА 21

Города, говорят, возникали там, где людям удобно было торговать, на разных путях коммуникаций и их перекрестках. Было бы совершенно несправедливо, если бы рассказывая о моем городе, обошел стороной то, что касается этой важной сферы человеческих отношений. Тем более, что эта сфера, всю жизнь, буквально, лезла мне в глаза – из окна моей комнаты открывается неповторимый вид на задворки одного из самых старых гастрономов Минска.

Этот гастроном присутствовал в моей жизни, кажется, постоянно – то неистребимой вонью, выливаемого в канализацию, прямо под нашими окнами селедочного рассола, то нашествием крыс, то наступлениями тараканов.

Вначале, вместо гастронома была большая казарма, в которой проживал строительный люд, на составленных в два яруса, железных койках. Ходить в гости в казарму не возбранялось, но память как-то не цепляется ни за лица, ни за события – была казарма и была, потом ее упразднили и стали делать гастроном. Он был шикарный! Пожалуй, в те первые годы пятидесятых – лучший в Минске. Стены были расписаны удивительными картинами, на которых счастливые колхозники и колхозницы щедро предлагали покупателям немыслимые дары закромов родины. Рыбаки – вытаскивали сети, полные осетров, чабаны смотрели с горных круч на тучные овечьи стада, партизанки-молдованки срезали пятикилограммовые гроздья винограда, но самое неповторимое, самое удивительное и незабываемое – в витрине стояла бутафорская бочка вина, из которой по бутафорской же трубочке, непрерывной струей текло в рог бутафорское вино. Около этого шедевра рекламы можно было стоять часами, пытаясь подловить момент, когда вино закончится и наступит пауза в изобилии. Магазин чем-то неуловимо напоминал знаменитую микояновскую книгу «О вкусной и здоровой пище» с немыслимо красивыми картинками. Книга эта, как напоминание, до сих пор хранится у моей дочери и она, выйдя замуж, по ней растрепанной и изувеченной от частого употребления, постигала основы того, как следует вкусно и здорово кормить мужа.

У меня такое впечатление, что директором нашего гастронома всегда был Золь Захарович – как сейчас понимаю, торговец милостью Божьей, все и всех знавший, все умевший достать, человек которого к которому в Минске все относились с почтением.

При Золь Захарыче ассортимент в магазине был фантастический. Помню мамину фразу:

– Сходи в магазин, купи полкило черной, полкило красной икры, брауншвейгской колбасы палочку, ветчины, селедки копченой по рупь сорок пять, не забудь бидон для молока…

Для тех, у кого приведенный список, вызывает ностальгию по временам изобилия, хочу сказать, что даже мы, которые жили материально совсем не плохо, могли себе позволить подобное раблезианство, довольно редко, как правило, перед большим гостевым сбором. Для всех остальных жителей нашего, в основном, пролетарского дома, была неистребимая перловка, да подсолнечное масло в разлив. Расслоение общества в те времена было ужасным. Это легенды о том, что все жили одинаково счастливо при сталинском изобилии. Видимость изобилия, как я сейчас понимаю, была обусловлена жесточайшей эксплуатацией деревни и наличием железного занавеса. Все, что было изъято у колхозных рабов, поступало исключительно на внутренний рынок и красовалось на витринах, недоступное для уже промышленных рабов, как для той самой голодной девочки из рождественской сказки братьев Гримм.

Дефицит, в той либо иной степени, при социализме был всегда. Был дефицит на крупы и, когда их «выбрасывали» со двора выстраивались многочасовые хвосты. Был дефицит на сахар, на сливочное масло, на молоко – на самые простые, дешевые продукты, которыми питался советский человек. В магазине – стояли бочки с икрой, лежали невиданные сегодня колбасы, но самые простые продукты, были в дефиците и за ними постоянно выстраивались очереди.

Дефицит ужесточился с началом хрущовских реформ. Это не правда, или, не совсем правда, что самодур Никита Сергеевич засеял всю землю до полярного круга кукурузой и тем самым подорвал продовольственную безопасность родины. Хрущов, даже точнее, еще Маленков отменил драконовские налоги на сады, на ульи, на личный скот – помните поговорку тех времен: «Пришел Маленков, поедим блинков!», а Никита Сергеевич, понимая, что рабовладельческое государство дошло до точки, отмени само крепостное право, разрешив колхозникам получать паспорта. Вот тогда и закончилась колхозная «лафа» – счастливые хлеборобы, чабаны и крестьянки-молдованки рванули в города из коллективного рая, разрушив демографический баланс города и напрочь оголив сельское хозяйство. Люди бежали из колхозов, как от чумы. Пришлось покупать хлеб в Америке.

Если раньше в столовых, хлеб лежал на столах бесплатно – ешь, не хочу! – то после освобождения колхозников, он исчез в

одночасье, вместо него появились плакаты: «Хлеб всему голова!», «Береги хлеб!». Начались гонения на тех, кто в городе держал свиней и коров. Комсомольская «кавалерия», натренированная на борьбе со стилягами, ринулась по дворам, по сараюшкам, выявляя продовольственных диверсантов, которые кормили скот хлебом. Диверсантов – представителей голодающего народа, нещадно штрафовали, подвергали общественной обструкции, а несчастные коровы и свиньи – шли под нож. Видимо, партийные бонзы, таким образом, пытались избавить колхозы от конкуренции частника. Вообще, вся хрущевская и пост-хрущевская суета в сельском хозяйстве была ни чем иным, как попыткой спасти колхозы. Тракторами рушились парники, обрезались приусадебные участки, крестьян заставляли резать или сдавать в колхоз коров, обещая райскую жизнь с молоком и мясом, купленным в родимом коллективном хозяйстве. Ни, черта из этого не вышло, кроме мучительства и издевательства над людьми. И – усугубления дефицита. В 1963 году я работал в газете «Молодость Сибири» в Новосибирске – белый хлеб по карточкам, основной пищевой продукт, который можно было приобрести в магазинах – частик в томатном соусе и стеклянные, литровые банки с борщем украинским. В Минске было полегче, чем в России, но борьба за колхоз, быстро свело на нет это национальное преимущество.

Единственное место в Беларуси, которое дольше всех сопротивлялось колхозной «продовольственной безопасности» – были западные районы республики. В середине пятидесятых, мы открыли для себя озеро Нарочь. То ли в силу того, что там к этому времени почти не знали, что такое колхоз, то ли в силу еще не выбитой любви к работе и тяги к земле, там было фантастическое изобилие. На базаре в Кобыльнике (ныне поселок Нарочь) можно было практически за бесценок покупать поросят, цыплят, яйца, масло. По нашей деревне Купы, ходили мужики с ведрами меда, копчеными угрями, ягодами, грибами, яблоками и иной летней, сезонной разностью, предлагая ее на смеси польского и белорусского языков, при каждом приобретении, не забывая кланяться, приговаривая: «Дзенькуе! Бардзо дзенькуе, пани…». Пани – это была мама, тетя Нина Окунь, тетя Маша… Так в нашей семье и повелось с тех нарочанских времен у женщин обращаться друг к другу «пани, Марыля», «пани, Нина», «пани Тамара»…

Однако, вернемся в Минск… Иногда, когда в каком либо телевизионном сюжете из передачи типа «Непутевые заметки» показывают небольшие магазинчики, лавочки, в которых западный покупатель приобретает ежедневно необходимые продукты, я вспоминаю наш гастроном. Вспоминаю, потому, что

он был похож на те самые лавочки. Здесь тоже постоянных клиентов знали и привечали. Как было не приветить маму, которая лечила весь район, к которой продавщицы бегали, спасаться от мастита, которая «входила в положение» и выдавала больничные, да и вообще, была хорошим и внимательным врачом, иногда наблюдая своих пациентов, с момента рождения.

Даже когда мама ушла на пенсию, и ее разбил инсульт, она в силу несгибаемости характера и природной независимости, ходила в магазин сама, разбираясь, каким-то немыслимым для меня образом с простынями талонов и карточек, без которых невозможно было приобрести ничего. Старые продавцы, старались помочь старому доктору, лишенному речи, нагружали ей сумку, необходимыми продуктами, а рубщики и магазинные грузчики, помогали донести авоську до дома.

Повелось это с той поры, когда мама сделала какую-то пустяковую операцию Золь Захарычу и он наказал «доктору давать все!».

А «всего» у Золь Захарыча всегда хватало… Целыми днями наш двор, как муравейник, был забит вельможными покупателями. Бывало с черного хода, перед праздниками, работало продавцов больше, чем стояло за прилавками. Шли милиционеры, прокуроры, проверяющие, райкомовские и обкомовские нужные люди. Отказу никому не было и они, как тараканы, тащили, паковали в багажники сумки, баулы, ящики.

Такова была советская система торговли. Когда муж моей сестры, отслужив в Германии срочную, пригласил к себе в гости, приятеля, который был восточногерманским полицейским и тот, живя в моей комнате, увидал, что делается у заднего хода в магазин, удивлению его не было предела.

Коля, муж сестры, долго втолковывал ему, что идет борьба с дефицитом.

– Но, Николай! Я видал там полицейских!..

– Естественно! Полицейские – главные борцы с дефицитом,– зубоскалил Коля.

Немец, ошалело мотал головой и повторял: « У нас (в ГДР) он бы дня не работал в полиции».

Наверно, даже у них в ГДР, был какой-то иной социализм, иной «орднунг».

В сталинские времена, к каждому празднику снижались цены. Это, считалось, высочайшим достижением социализма. Я, однажды, с детской наивностью, попытался подсчитать, через сколько лет наступят временя, когда ничто уже ничего не будет стоить. Помню детские дискуссии о том, с чего начнется коммунизм. По всему выходило, что вначале, дармовыми станут

спички, потом соль, потом уже все остальное. Деньги до хрущевской реформы, были большие, красивые и солидные. В 61 году, когда произошло первое ограбление советского народа при денежной реформе, и появились неказистые и непонятные «новые» рубли – смеялись: «Когда покупали «Победу», деньги несли в чемодане, деньги на новенькую «Волгу», поместились во внутренний карман пальто».

Забавно было перебирать, лежавшие на дальней полке в платяном шкафу, облигации на развитие народного хозяйства. Они тоже были большие и красивые, вызывающие доверие, как фасад нашего магазина. Никто тогда не думал, что у всей этой солидной бутафории, как и у магазина, есть черный подъезд, через который и происходит основная реализация социализма. Никто не думал, что к моменту распродажи последнего, первыми вновь поспеют партийные бонзы, прокуроры, милицейские, а простой люд, будет безнадежно ждать своей очереди в неимоверно длинных, унылых «хвостах».

Следует, пожалуй, рассказать анекдот, поясняющий взаимоотношения между продавцом и покупателем. Было это не в нашем гастрономе, а в другом, в подкове, на Круглой площади.

Утром я заскочил туда купить хлеба и молока. Продавцов, как всегда не было на своих местах. Рассвирипев, проник с вятая святых, подсобку, в поисках начальства. В подсобке, на напольных весах были навалены туши кроликов и мороженая печень. Не обнаружив начальства, стал к безлюдному прилавку мясного отдела. Появилась девочка-продавец.

– Мне, пожалуйста, двух кроликов и килограмм печени…

– Каких еще кроликов! У нас только то, что на прилавке…

На прилавке – «Бычки в томате».

– Двух кроликов и печени…

Народ в те времена был с хорошим слухом. За мной пристроились два человека.

Вышла зав. Отделом:

– Вам же русским языком сказано…

– Есть у вас, есть… И кролики, и печень…

– Вы пьяны!.. Я вызову милицию!..

– Вызывайте, вы милицию, я дежурного по райкому…

Препирались долго. Я дошел до дежурного по ЦК. Хвост вытек на улицу. Люди надеялись на кроликов и печень. Первой не выдержала продавщица, прыснула в кулак,– Так нет уже кроликов, всех нам раздали!..

Девчонкам, видимо, не часто обламывался, припрятанный для начальства дефицит, они веселились.

Принесли печень. Я требовал еще и кроликов. Народ за моей

спиной начал роптать. И – тут, внимание!, в затылок мне раздалось…

– Ишь, ты!.. Кроликов ему захотелось! Взял печенку и вали, не задерживай очередь…

Я пришел в неописуемый восторг. Толпа стала на сторону тех, кто дурил им голову, кто скрывал от них продукты, кто их обманывал…

Это был апофеоз социалистической распределительной системы. Рабы стали на сторону надсмотрщиков, выдававших пайки.

Только потом, поездив по свету, я понял, что никакой торговли при социализме не бывает, бывает раздача «паек». Об этом прочитал, когда появилась такая возможность, в «трудах» теоретиков социализма – Троцкого, Бухарина… Торговля – красивое, увлекательное дело. Раздача «паек» – примета тюремного быта. На западе торгуют, там покупатель всегда прав, там вам улыбаются… Зачем улыбаться в лязгнувшее окошко камеры,– бери, что дают, не задерживай, следующий… И следующий зэк, покорно просовывает в окошко миску за своей порцией баланды… Покажите мне тюремщика, который улыбается зэку?!

Раздача паек и дефицит – непременные особенности социализма. При социализме необходимо, чтобы голодные дрались с голодными, рвали друг у друга кусок из горла, вышибали зубы, рычали, как псы… Народ должен жить впроголодь, тогда он будет послушным и покорным… И, матросские заслоны, под маркой борьбы с саботажем, расстреливали в 18 году мешочников, по теперешнему, челноков, которые доставляли продовольствие в голодающие города. Продотрядовцы и ЧОНовцы шерстили и зорили крестьянские дворы в стремлении выгрести хлеб подчистую, мудрые партийные начальники, лишали крестьян паспортов, всерьез обсуждали, что если дать советскому человеку более шести соток земли, на которой он будет горбатиться ради пропитания насущного, он – советский человек обуржуазится и выйдет из подчинения.

Но, люди есть люди, и, даже в рамках этой системы, случаются исключения, случаются проявления нормальных человеческих чувств, доброты, искренности, взаимопомощи, как у Золь Захарыча, как у рубщика мяса Валеры, который подносил маме авоську до двери. Но, это лишь исключение, подтверждающее правило, не более.

Я очень хочу надеяться, что в «моем» гастрономе, на моей Московской улице, в моем Минске, когда ни будь появится настоящий хозяин, не директор – хозяин, может он будет внуком

Золь Захарыча, может сыном Валеры, который научит белорусских девочек торговать и при этом улыбаться…

ГЛАВА 22

Приезжая в любой незнакомый город, первым делом иду на базар. Может, мне кажется, а, может, это действительно так, но именно базар дает первое и наиболее точное ощущение не только города, но и его окрестностей, знакомит с людьми, с бытом, обычаями. Когда-то, над всеми советскими базарами висели вывески: «Колхозный рынок». Но, тем не менее, у каждого базара было свое испокон, издавна, людской молвой прикрепленное имя. «Комаровка» – всегда была Комаровкой, Был «Сурожский» рынок – это рядом со мной, с моей Московской улицей. Сейчас его нет. Был «Червенский» – этот и сегодня на своем месте. Был базар на автозаводе, базар на Красноармейской. У каждого базара существовала своя специализация, у каждого, свой контингент, как продавцов, так и покупателей. Продавцы «привязывались» к базарам сообразуясь с транспортными возможностями – со слуцкого направления оседали на Сурожском, подвоз на Червенский был удобен, видимо, для тех, кто двигался в Минск со стороны Червеня. Комаровка же была базаром базаров. Самая людная, самая богатая. Поход, или поездка на Комаровку, было событием, там можно было найти и купить все, или почти все. По мелочи, для ежедневного потребления, продукты покупались на базарах поближе к дому.

На базарах, в отличие от магазинов, где продукты были исключительно «казенными» и набор их был почти стабилен по качеству и цене, в любой торговой точке города – можно было выбирать. Цены там были выше, чем в магазинах, качество тоже. Сегодня произошли странные изменения. В магазинах качество местных продуктов осталось почти таким же, как было когда-то, а цены – выше, чем на базаре. Количество базаров уменьшилось. По большому счету – остался один – Комаровка, кормилица двухмиллионного города. То, что построено в Ждановичах, ни с какой стороны для обыкновенного минчанина, удобным быть не может – далеко.

Базары в послевоенные годы, хоть номинально назывались колхозными, таковыми никогда не являлись. Все, что было выращено в колхозах, изымалось государством и прямиком следовало в магазины. Написал «прямиком» и призадумался, поскольку колхозная продукция «прямиком» никогда в магазины не поступала – были посредники, тоже государственная система переработки. И если буренка была выращена в колхозе, ее долго «мучили» на мясокомбинатах, где она теряла вес и товарный вид, потом забивали, морозили и, мороженными тушами, развозили

по торговым точкам. Как это было, часто наблюдал из своего окна. Подъезжал грузовик, в недрах которого вповалку лежали мороженые коровы или свиньи. Их железными крючьями выволакивали из недр фургона, роняли на, брошенные на землю, использованные скаты, и волоком тащили по кафельному полу в морозильные камеры или в разделочную. Я всегда удивлялся – разгружают с машины туши, а в магазине на прилавке ребра и ноги. Куда деваются окорока, вырезки и прочие соблазнительные части было непонятно. Впрочем, понятно, конечно же… Они уходили «нужным» людям.

На базаре все происходило на глазах. Всегда на торговом месте присутствовал мужик, который эту свинью вырастил, с ним можно было побалагурить, поторговаться, сбить цену – это входило в ритуал. Были и невиданные в магазинах продукты – домашние сыры, вяндлина, пальцем пханые колбасы, всевозможная птица, кролики, нутрии, дикая кабанина, лосятина – одним словом гурману и любителю, имеющему деньги, всегда можно было что-то выбрать. И, пожалуй, у каждого постоянного посетителя базара, были постоянные продавцы, которых знали, которым доверяли и, которые, зачастую, откладывали постоянному же покупателю кусочек по вкусу.

На минских базарах продукты, однако, были простые и присущие сельскохозяйственной традиции Беларуси. Кроме мясных и молочных, конечно, всяческие сезонные овощи и фрукты. На базаре в Бобруйске, как рассказывал мне один тамошний старожил, можно было купить до двадцати сортов одной только антоновки. Грибов – было, завались – и свежие, и соленые, и сушеные… Володя Яблонский, на хуторе у которого, под Молодечно, мы жили одно время, сушил грибы, набивая ими матрасы. Его мать вспоминала, что «за польским часом» сушеные грибы они возами отправляли в Варшаву.

Сегодняшним умом понимаю, колхозник, работавший за «палки» (так назывались начисляемые в колхозе трудодни, которые не были обеспечены ни деньгами, ни продуктами) тащил на базар все, за что можно было получить хоть копейку. При социализме, именно колхозник был самым обездоленным человеком в государстве – без паспорта, без денег. Грабили и обижали его все, кто мог и, как мог. Наверно оттого, что многие «новоприбывшие» в Минск «насельники» были или приезжими из России начальниками, или местными крестьянами, правдами и неправдами вырвавшимися из колхоза, чисто эмоциональное отношение к мужику, торговавшему на базаре, было уничижительное. Относились к кормильцу свысока, как к человеку, не сумевшему чего либо добиться в жизни, плохо

образованному – одним словом, неудачнику. Не отсюда ли, не из тех ли времен и пренебрежительное прозвище – «колхозник», которым и сегодня, подчас, награждают хлебороба?

Впервые почувствовал, что что-то не в порядке в социальной табели о рангах, когда попал на базары в тех окрестностях великой империи, в которых колхозный строй либо не успел укорениться, либо национальная традиция торговать оказалась сильнее и глубже социалистической традиции презирать, торгующего.

К первому разделу относились базары в западных областях Беларуси, во Львове, в Литве; ко второму – фантастические базары Средней Азии и Закавказья. До сих пор слюнки текут, когда вспоминаю немыслимое изобилие ташкентских, тбилисских, сухумских базаров, когда вспоминаю базар во Львове, Рахове, базар в Вильнюсе, на который ездили за «казюкасами», неимоверной красоты букетами из сухих полевых цветов и злаков. Там впервые ощутил, что торгующий на базаре человек, обладает внутренним достоинством. Ощутил его спокойствие, уверенность в себе, основательность хуторянина и легкую насмешку над, суетящимися, толкающимися у прилавков горожанами.

В этой основательности западного торгующего человека было ощущение самодостаточности, понимание своего места в обществе не как униженного и ограбленного, а уважаемого, почтенного человека, готового поделиться плодами трудов своих, ощущение гордости за свой товар, за – свое умельство.

На том же хуторе под Молодечно, жил еще один «абориген» – Алексей. Леша виртуозно плел из расщепленных повдоль сосновых корешков уникальные поделки. Мог сплести и «кошик» для куклы моей дочери, и невиданной красоты и изящества кошелек для дамы, и огромный туес для всякого сыпучего вещества, необходимого в деревенском быту. Даже бутылку мог сплести, которая, благодаря его волшебному умельству, не протекала. Сколько мы его уговаривали, убеждали, что его замечательные руки могут кормить не хуже, чем непыльная, но и не денежная должность сторожа чего-то колхозного – не поверил! Делал свои немыслимые поделки, от которых глаза на лоб могли вылезти у любой модницы от Москвы до Парижа, и дарил их «за так», не допуская мысли, что является хранителем невиданного мастерства, национальной, культурной традиции.

Когда, снимал фильм о белорусской керамике, объездил, пожалуй, всех мастеров, известных в этой области. Где-то под Кобрином наблюдал за гончаром, владевшим ремеслом изготовления черно-лощеной посуды. Тогда воспринял его замечательные горшки, кружки, миски и глечики, как нечто само

собой разумеющееся. Умеет, мужик, и – умеет, что здесь особенного. Думаю, во многом такое прохладное отношение к собственным изделиям было навеяно скромностью самого мастером. Когда намного позднее увидал в салонах Монреаля, Копенгагена, Бремена, Праги эту самую черно-лощеную керамику, охнул, а, прочитав таблички с ценами, понял – мастер был уникальный, И мастерство его – уникальное. Но не оцененное – колхозник же…

Почему я перекинулся от продуктов питания на белорусских базарах, к изделиям мастеров народного творчества? Просто на этих примерах наиболее наглядно читается, как не ценим мы то, что умеем, как наплевательски относимся к собственной культуре. Потому, что и изготовление колбас, и засолка традиционного белорусского сала, и изготовление сыров, и обжиг изысканных гончарных произведений – не существуют вне народного опыта, многовековой национальной, культурной традиции.

В Алма-Ата, на базаре, построен целый павильон, в котором аксакалы торгуют кумысом. У каждого свой рецепт, свой, от деда к отцу передающийся секрет изготовления пенного напитка. Забравшись в этот павильон – не вышел, пока не перепробовал все, все не продегустировал. Правда, вышел, не совсем правильное слово – кумыс, хоть и слабо, но все таки напиток алкогольный, а аксакалов (никто другой там не торгует) было – множество.

Подобная история случалась и на молдавских базарах. Погребков, подвальчиков с домашним вином на продажу там неисчислимо. У каждого свое вино, своей рецепт, свой виноградник, свой сорт лозы, свои прибамбасы – виноделие, так же как и изготовление кумыса – продукт национальной культурной традиции. Виноделы и кумысовары – почитаемые всеми люди.

В гуцульском Рахове, на базаре, набрели с женой на невиданной красоты постолы, тапочки из сыромятины с загнутыми вверх носами, украшенные насечкой. Нам было нужно много и разных размеров. Навели справки, поднялись в горы, на хутор, где жила древняя бабуля. Долго убеждали, что мы не из милиции, не фининспекторы, что не причиним ей зла. Уговорили! И она при нас изготовила несколько пар постолов, разных размеров и отделки. Одни из них донашиваю сегодня. Истерлись, потрескались, но, вот немыслимое умение выделывать сыромятную кожу – носятся!.. А прошло с тех пор лет тридцать с хорошим гаком.

Ярмарки, базары, торжища всегда были привлекательны для

мастеров, будь то сапожники, гончары, кулинары. Это всегда был праздник удивления и восторга. Праздник знакомства и чревоугодия. Мы потеряли эту традицию. Мы не радуемся, если сосед что-то умеет делать лучше нас. Торговля потеряла свой азарт, перестала быть искусством. Обратите внимание, как и кто ныне торгует на Комаровке. Они не радуются тому, что у них замечательный товар. Они не гордятся своей землей, на которой выращены плоды. В лучшем случае, на вопрос,– Откуда родом эти замечательные огурцы?.. – услышишь однообразное,– Из Пинска… А, в чем дело? А, что такого?..

А, ни в чем, просто мне интересно! Просто мне поговорить хочется, потрепаться, позубоскалить. Я и из-за этого люблю ходить по базарам. Люблю услышать сочное словцо, невероятно емкую фразу, смачную похвальбу – согласитесь, устное народное творчество, тоже продукт национальной, культурной традиции. Вместо него – подозрительное: «А, что такого?..».

Человек перестал радоваться своей уникальности, географической, национальной, перестал задаваться своим мастерством, перестал относиться к торговле, как к выставке собственного творчества, как к искусству.

Однажды, задолго до восхода солнца, попал на Привоз в Одессе. Базар был еще или уже закрыт, но торговцы – при товарах. Я не помню в жизни более замечательной ночи. Какое тем, «чрево Парижа»!.. Мы ели помидоры, макая белый хлеб в подсолнечное масло, раздирали зубами черноморских бычков, меня наперебой угощали невероятной толщины и прозрачности салом, наливали в не очень чистые и вовсе не одноразовые стаканы вино огненную хохляцкую самогонку… А, разговоры, разговоры… Я даже пытаться не стану передать колорит немыслимо изящных малороссийских фраз, которыми обменивались одесские торговки. Это был Привоз – и тут ни убавить, ни прибавить. Это нужно испытать!

На Комаровке я люблю покупать квашеную капусту у замечательной мастерицы этого дела – Раи. Люблю поговорить с ней «за жизнь». Я знаю, она не перекупщица. Я видал фотографии с ее капустных плантаций. Работают – она, муж, дочь, зять. И если за прилавком нет Раи, а стоит ее дочь или зять, значит Раи «завихается» либо на плантации, либо у засолочных чанов. Рая делает капусту более чем десяти сортов, на выбор. Иногда жалуется, как ей тяжело, иногда просит познакомить с кем ни будь из рестораторов – она готова снабжать их кухню потрясающей капустой, которую можно есть, как отдельное блюдо. Я не могу помочь Рае. Белорусские рестораторы предпочитают маринованную капусту из Венгрии или, еще из

какого заграничья. Наверно думают, что это очень престижно. А, может, просто у нас нет собственных рестораторов, как почти нет, пожалуй, на Комаровке и мужиков, которые сами бы выращивали и сами продавали продукт. Сдается мне – там все сплошь перекупщики. Сдается мне, что белорусскому мужику на главном торжище республики просто нет места. Выжили его оттуда, выставили. Я, конечно, не против того, чтобы минчане могли в широком ассортименте покупать «колониальные» товары – помидоры из Испании, цветную капусту из Голландии, апельсины из Марокко, яблоки из Польши, гранаты из Азербайджана, дыни из Самарканда, арбузы из Астрахани… Честь и хвала ушлым, рискующим купцам, доставляющим к нашему столу невиданные и неслыханные, в эпоху победившего социализма, плоды. Я их очень уважаю, я люблю с ними беседовать. Я люблю расспрашивать из какого района Азербайджана гранаты, из какого места Абхазии мандарины. Мне нравится, как они восхищенно цокают языком в ответ на незамысловатую фразу о том, что настоящие мандарины растут только в Абхазии, а настоящую дыню, можно привезти только из Самарканда. Но, что-то, в последнее время и этих «лиц кавказской национальности», все меньше и меньше за прилавками. Неужели и их вытесняют, выпихивают приблатненные тетки и девицы, заполонившие рынок и, явно, не являющиеся носителями национальной, культурной традиции.

ГЛАВА 23

В отцовской мастерской частыми гостями были архитекторы… Служили они в государственных проектных институтах, где была строгая дисциплина, почти режимный быт, поэтому, вырываясь в мастерскую скульптора, вдохнув воздуха богемы и, не взирая на регалии и звания, расстилали газетку, доставали немудрящую закусь и начинались долгие разговоры о прошлом и будущем Минска. Мал был, часто не понимал о чем речь, многое не запоминал, многое, признаться, по тем временам, казалось не очень интересным. А, за разостланной на скульптурном станке газеткой, обсуждались, подчас, дела судьбоносные, изменявшие облик моего города.

Архитектурными доминантами послевоенного Минска были Дом Правительства, Дом офицеров и Оперный – все спроектированные и построенные в довоенной столице архитектором Лангбардом. Когда стал повзрослее и поумнее, когда научился понимать, что такое архитектурные стили, уразумел, что предвоенный Минск был своего рода заповедником конструктивизма. В России уже во всю возводились пышные «ампиристые» дворцы, претенциозные памятники сталинской эпохи, а в Минске создавались здания, которые и сейчас удивляют своим конструктивным совершенством. Например, многие ли из обывателей знают, что Дом Правительства основывается на сетке несущих колонн с легкими, трансформируемыми стенами – совсем так, как строят сейчас. Его же начали возводить в самом начале тридцатых годов. Тогда же и по тому же принципу строился Университетский городок и первые его корпуса, созданные по проекту молодого архитектора Лаврова, тоже были последним словом архитектурной мысли 20-30 годов. Существует анекдот о том, что после войны, приехав в Минск, Лангбард подосадовал: «Ну, надо же, все порушили, а то, что следовало взорвать, оставили…»,– это маститый архитектор так отозвался о своем творении, Оперном театре. Чем-то ему здание не нравилось, испытывал мастер творческое неудовлетворение.

Старые минчане, пережившие здесь годы оккупации, вспоминают, что буквально через несколько дней после начала войны, Минск подвергся жесточайшей бомбардировке, от которой выгорело почти половина деревянных строений. Каменные, остались стоять, зияя закопченными окнами. Я никак не мог понять, когда же и кем был нанесен Минску тот урон, который я почти застал в послевоенные годы? С одной стороны, немцы

Минск захватили почти без боев, бомбить и рушить город, который практически не оборонялся, у них не было причин. С другой – и наши части отбили его без сильных боев. Стальные клещи операции Багратион, замкнулись западнее столицы, когда немецкие части, должные занять оборону в городе, были разбиты и окружены еще на восточных подступах к нему. Опять же некоторую ясность внесли старики-минчане. Восстанавливать сгоревший город немцы не намеревались. Руины зданий грозили обвалами. Поэтому немецкие саперы подрывали их, расчищая транспортные коммуникации. И, вообще, многие старожилы считают, что почти полное военное разрушение Минска – это послевоенная легенда. Очень многие здания сегодняшнего Минска, видоизменяясь, стоят с довоенных времен. Их очертания угадываются и сегодня. Жаль, что в Минске нет городского музея, в котором шла бы систематизация архитектурных и строительных сведений, что, когда, кем было построено, что, когда и кем разрушено, что реставрировано, что перестроено до неузнаваемости. О том, что это жизненно важно для того, что бы понять каким был и каким стал Минск, свидетельствует, изданная совсем недавно книга «Мінск незнаемый. 1920-1940», собранная по крупицам и составленная Ильей Курковым и изданная издательством “Урожай”

Я с наслаждением листаю эту книгу, удивляясь тому, каким замечательно соразмерным человеку, был наш Минск, сколько в нем было чудесных местечек, зданий, улочек. С радостью узнаю в тогдашних очертаниях домов, сегодняшние строения. И размышляю о том зачем и кому нужна была легенда о полностью разрушенном Минске. Закрадывается обжигающая мысль о том, что так удобнее было, под шумок, доломать, довзрывать все, что осталось от старого города, что бы вытравить у населения саму память о его тысячелетней истории. Наши соседи, поляки, совершили грандиозный, патриотический подвиг – полностью восстановили Старе Място в Варшаве. Для них это было делом чести, а честь, как известно, дороже денег. Мы отнеслись к своему городу «абыякава», согласившись с тем, что восстанавливать здесь нечего, лучше и легче на его месте построить город новый. Оправданным, пожалуй, можно считать только строительство проспекта, он был пробит с запада на восток, образовав становой хребет города, и, определив его облик. Можно спорить о стилистике, о пышности архитектурных форм, но проспект Скорины уже сам стал памятником эпохи, памятником градостроительства – он такой, какой есть, он дорог сердцу каждого минчанина и каждый минчанин принимает его, как принимают родителей.

Но, вот чего я не могу понять, зачем нужно было прорубая Парковую магистраль, нынешний проспект Машерова уничтожать старое минское замчище и район нижнего рынка, зачем было до неузнаваемости изменять кафедральный костел, зачем было продолжать преступную традицию царских сатрапов, взорвавших здание минской ратуши, чтобы не осталось в столице Беларуси помина о Магдебургском праве, о былой вольности города.

Не могу понять и того, зачем было уничтожать старинную улицу Немигу? Да, она была не очень приспособлена к жизни ее обитателей; да, она требовала реконструкции… Но, Боже мой, разве не стоила она того.,. Теоретик уничтожения памятниуов Минска, профессор архитектуры Чантурия однажды сказал о том, что немига должна была быть уничтожена потому, что городу необхлдим бьыл транспортный дублер проспекта Скорины. Немигу взорвали вместо нее построили нелепое здание по проекту архитектора Мусинского, оставив только название торгового дома. Сейчас обещают на ее недоломанной, недорушенной правой стороне провести археологические изыскания и построить развлекательный центр с автостоянками. Поскольку на археологические изыскания отпущено, всего ничего, полтора месяца, следует быть уверенным, что это фикция. Так, для отвода глаз, копнут лопатой, оповестят, что там, в земле, ничего ценного нет и понесутся строить со свистом и улюлюканьем очередной шедевр архитектурной мысли. Разве не было точно такого же отношения, когда выстроили дурацкое здание спортзала Трудовых резервов точно на месте древнего, почти тысячелетнего минского городища. Разве не случилось точно так же на Октябрьской площади, когда ее вначале изуродовали медным истуканом, потом, свалив истукана, отстроили нелепый «саркофаг», который ничего не говорит ни уму ни сердцу человека и торчит пореди города, в самом его историческом центре, памятником нашего вандализма и все той же аморфной «абыякавасці».

Иногда складывается впечатление, что мы безумно богатые, что нам стоит дом построить! Правда строить новые дома мы предпочитаем предварительно взорвав старые. До сих пор душа болит о замечательном строении напротив Дома Правительства. Это был добротный, шестиэтажный красавец, построенный еще в 1904 году и замыкавший ансамбль, созданный Лангбардом и скульптором Манизером. Дом взорвали, расчистили самую большую в Европе площадь, Дом Правительства и памятник Ленину, торчат на ней что называется ни к селу, ни к городу. Ни к селу, ни к городу, подозреваю, будет и еще одно «гениальное» творение – подземный торговый центр, под этой площадью,

который усиленно строится и, скорее всего, станет еще одни памятником нашему головотяпству и стремлению переплюнуть старшего брата. У них, в Москве, под Манежной площадью есть торговый центр! А мы, что хуже? Переплюнем! Как бы нам в нашем небольшом и уютном городе, не очень богатом на памятники старины, не проплеваться до полной никчемности. Ведь ясно, что политика национального цинизма в архитектуре была нам навязана извне, служила определенным политическим целям, тогдашнего начальства. Стоит ли и сегодня продолжать ее уже без всякого давления, просто по инерции?

После строительства в Москве печально знаменитых Черемушек, подобные городские спальни начали возникать и в других городах империи. Помню то время хорошо, потому что отец перестал зарабатывать, началась компания борьбы с архитектурными излишествами. Начали повсеместно строить каменные бараки «модуля 5оо». Где-то во Франции Никита Сергеевич подсмотрел, как строятся дешевые бараки из силикатных блоков специально для алжирских «гастарбаетеров» и восхитился: «И я такого же хочу!». Не с руки мне бросать камень в Никиту Сергеевича – людей из деревянных, ветхих бараков, из подвалов, из коммуналок он выселил. Но ужас в том, что временная, оправданная, в общем то мера, превратилась в граостроительную политику. Как серая короста поползли многочисленные «черемушки» по телу наших городов. Первым был отстроено «по-новому» бульвар Шевченко. Сегодняшние его жители, пожалуй, не поверят, но мы ездили смотреть на него как на чудо архитектуры. Потом «чудо» начало стремительно клонироваться, обрекая, вселившихся в него, на проблематичную перспективу. Дело в том, что то самый «модуль 500» был рассчитан не более чем на 50 лет физического существования. После чего, согласно неумолимым законам сопромата, должен начать разваливаться. Не знаю, как собирались решать эту проблему французы, но то, что мы закрываем на нее глаза и делаем вид, что проблемы не существует – это точно. Очень боюсь, что в какую ни будь «светлую» голову придет мысль, начало развала этой застройки, списать на неизбежную фатальность техногенных катастроф.

Повторюсь, я не сноб, и понимаю, что в середине-конце пятидесятых, пожалуй, иное решения проблемы найти было трудно, но, тогда, нужно было честно и открыто сказать – эти постройки временные, мы от них избавимся, чуть погодя, когда станем побогаче. Но, вот беда, побогаче мы никак не становимся и поэтому, вот уж, которое поколение минчан продолжает ютится в этих мало приспособленных для достойного человеческого

бытия «хрущобах».

Я был потрясен, когда переехав через Шпрее, из уютного, красивого, богатого Западного Берлина, в котором даже старинная кирха, разрушенная американской или советской бомбой, была вмонтирована в стеклянный куб, что бы стать памятником; в котором все дома, даже в центральной деловой части города были соразмерны пропорциям человека – очутился в Берлине восточном и, буквально, «фейсом» уткнулся в родные, серые, блочные «хрущобы», увидал на улицах «чудо» немецкой конструкторской мысли – пластмассовые «вартбурги». Тогда подумал – вот два стиля жизни, два подхода к людям, к труженикам, столкнулись со всей очевидностью – по оду сторону реки после ковровых бомбежек отстроен город для людей, которые ездят на мерседесах, по другую – город, в котором живут люди недостойные уважения и ездят они на недостойных уважения «вартбургах.

Мерседесы, правда подержанные, минчане стали помаленьку прикупать… Осталось дело за малым!

ГЛАВА 24

Сел за компьютер, выглянул в окошко… Мой двор и, вроде, не мой. Залит асфальтом, проложены аккуратные дорожки, устроены стоянки для машин. Их много, поскольку осталось в доме только два жилых подъезда – все остальное продано под офисы, а в офисы приезжают машины. Кроме того – в доме нет детей. Да, пожалуй, вот что делает мой двор, не моим – отсутствие детей. Мы, его первые насельники, постарели, наши дети выросли и разлетелись в разные края, устраивая свою жизнь на стороне. А мы остались во дворе, в котором не звучат детские голоса. Что-то в этом кардинально неправильное и чрезвычайно печальное. Такое видал только однажды в 1986 году в мае… Я тогда прилетел из Алма-Аты, где проходил Всесоюзный кинофестиваль. В аэропорту встретили коллеги и кто-то, захлебываясь смехом сказал: «Вам повезло!.. А у нас, тут, чего-то долбануло – не разберешь!».

Долбанул – Чернобыль и разобраться, в первые дни, в самом деле, было трудно. В парткоме киностудии сказали, что нужно срочно ехать туда, где долбануло, поднимать настроение у людей. Поехал, потому, что хотелось все увидать своими глазами. Вот там, в Хойниках, и увидал город без детей. Правда, перед встречей с Хойниками, был вечер в Гомеле. Из окна гостиницы, выходившего на привокзальную площадь, виден был сквер, забитый детьми – их эвакуировали, отобрав у родителей, в тех же Хойниках и других городках попавших по самый первый, самый жесткий удар радиации. Дети сутки сидели в скверике-накопителе, никто не знал, куда их вести, за чей счет кормить, что с ними будет дальше. Детям выдавали на сутки по две пачки печенья и по бутылке сладчайшего лимонада, от которого под тогдашним неимоверно жарким солнцем, пить хотелось еще больше. По привокзальной площади тек клубничный сок. Гомельчанам, которые издавна привозили в Минск первую клубнику, на этот раз везти ее запретили. Она стояла по всей площади в кошелках, корзинах, туесах и истекала соком, превращаясь в жуткое месиво. Так и запомнилось – клубничный сок похожий на кровь, заливший площадь, и плачущие дети в скверике, испуганные разлукой с родителями до икоты.

Назавтра были Хойники, дом культуры, в котором у директора были пустые глаза. У женщины, ничего не объяснив, отобрали детей и вывезли куда-то, Мы уже знали, куда – в привокзальный скверик в Гомеле. Но она-то не знала. Не знала, зачем у нее отобрали ребенка, что грозит ей самой и официантка

в ресторане. Она подносила нам блюда, не очень понимая, что делает. И у нее были такие же пустые, ничего не видящие глаза, как у заведующей Домом культуры. О том, что это не отдельный факт, а общее состояние души, понял, когда такие же потерянные, ничего не понимающие люди повстречались в Чашниках, в Брагине и далее по всему нашему маршруту. Города без детей, без детских голосов – это страшно! Поверьте на слово. Вроде бы их не видишь, детей; вроде бы в повседневной жизни, не слышишь их голосов, но, когда их физически нет, когда они отсутствуют, когда их вывезли, не объяснив, куда и зачем, когда родители не знают, что с ними – в этом есть что-то инфернальное, что-то дьявольское.

Поэтому, сейчас сижу у окошка, гляжу на мой двор, в котором тоже нет детей, и вспоминаю то, что многим покажется не стоящим внимания. Вспоминаю наши детские игры. Кто из вас, дорогие мои минчане, помнит, как играть в «тюху». Неужто, забыли, как по весне, только просыхала земля, кто-то из сверстников проводил во дворе черту – это был кон, а все остальные ставили на кон монетки столбиком и с расстояния, о котором договаривались, метали тюхи. Задача была попасть в столбик и рассыпать его. Тогда объявлялся «тюк» и, попавший в столбик, забирал все. Если же тюхи ложились за чертой, но не разбивали столбик, вначале по нему лупил тот, чья тюха упала ближе к черте. Нужно было перевернуть как можно больше монеток с «орла» на «решку». Игра была захватывающе азартная. Размер и вес тюхи каждый подбирал себе по руке, заливая в выдавленную в песке сферическую лунку, расплавленный в старой консервной банке свинец.

Еще играли в «пикаря». Это была странная игра… Выбиралась круглая, ровная палочка сантиметров двадцати в длину, укладывалась поперек аккуратной ямки и, разводящий, уже длинной, хорошо оструганной битой, старался забросить ее куда подальше, чтобы вся ватага рванулась, к улетающему на солидное расстояние «пикарю». Тот, кто добегал первый, занимал оборону, фехтуя своей персональной битой и, отбивая поползновения прочих играющих завладеть им.

Были игры девчачьи, в которых мы, мальчишки, не участвовали – например классики. На травяной лужайке, или на асфальте чертились классики и голенастые наши подруги самозабвенно скакали по ним на двух, на одной ноге, по пути передвигая из класса в класс баночку из под ваксы. Правила этой игры помню плохо, поскольку играли в нее в основном девчонки. Девчонки же любили устраивать секретики. Смысл этой игры тоже был сугубо девчачий – в земле выкапывалась ямка, в

которой раскладывалось в определенном порядке, все, что было ценного – обертки от конфет, цветные стеклышки, пуговицы и прочая детская дребедень. Потом ямка накрывалась стеклом, тщательно маскировалась и девочки, под большим секретом, хвастались друг перед другом, своими схронами, обновляли их, старались устроить секретик позанятней и попривлекательней, чем у подруг. Мужская половина двора, считала за достоинство выследить места, где у девчонок находились их секретные захоронения и разорить их. Слез и воплей по этому поводу было не счесть. Но слезы быстро высыхали, обиды не помнились – и другие игры звали к себе.

Вместе с девочками играли в лапту и «штандора». Правила лапты были и усложненными и простыми. Усложненные – очень напоминали национальную американскую игру в бейсбол. Были и биты, самодельные, конечно же, был и мячик, как правило, мохнатый теннисный, были и две команды. Игроки одной старались запятнать, то есть попасть мячиком в соперников, которые при этом вылетали из игры. Упрощенный вариант не требовал бит и большого пространства. Просто поперек двора в две линии выстраивались игроки одной команды, а игроки другой располагались между линий. Задача линейных была простой – мячиком выбить тех, кто в поле. Полевые же должны были уворачиваться и перехватывать мячик. В эту игру гоняли до темноты, не взирая на крики, высунувшихся из окон родителей. Прекращали, когда, в темноте, наступившего вечера, переставали различать сам мячик. «Штандор» – была игра очень сложная, требующая сноровки и недюжинного чувства координации. Мячик в ней бросали о стену, и следовало перепрыгивать через него на отскоке самыми немыслимыми способами.

Во, что же еще мы играли? В прятки, в «замри-отомри», в казаки-разбойники… В этой игре «разбойники», случалось, уводили следопытов- казаков в другие дальние, запретные дворы и места, где прятались так, чтобы казаки никак не могли их отыскать. С этой игрой связано у меня одно воспоминание, от которого и сегодня подирает мороз по шкуре. За забором нашего двора, были заброшенные сараи. Однажды, прячась в таком, ничейном сарае, я обнаружил в нем подвал, забрался в него и, надо же, в подвале сарая стоял сундук. В полном восторге от того, что если я залезу в сундук, меня, точно, никто не найдет я в него и залез. Закрыл крышку. Упавшая вниз клямка оповестила о том, что меня и в самом деле никто не найдет, но и я из сундука, по своей воле, не вылезу. Страшно было безумно. Крышка сундука – удерживаемая упавшей на пробой клямкой, не подавалась. Темно было, как в одном месте у негра. Кричать и звать на помощь –

бесполезно, сундук стоял в подвале заброшенного сарая. Все я вспомнил в этом сундуке: и папу, и маму, и дедушку с бабушкой, и Господа Бога – пока не нашел на дне тоненькую щепочку и не ссобразил, что ею можно отжать запершую меня клямку. Провел я в сундуке более двух часов, когда выбрался, казаки переловили всех разбойников и благополучно играли в какую-то другую игру. Вступать в нее я не стал. Молча, бочком-бочком потелепал домой. Но и дома никому ничего не рассказал. Боялся. Боюсь этого сундука и до сих пор, до сих пор, иногда, в кошмарных снах видится, что сижу в темном сундуке, где-то в подземелье и не могу выбраться.

Но, проходит все, все забывается и на завтра во дворе школы №41 до потери пульса, гоняли в футбол. Мячи, надутые воздухом были редкость. Часто вместо камеры напихивали в кожаную оболочку тряпки и пинали такой мяч, не взирая на его минимальную прыгучесть до самозабвения.

Зимой строили крепости и бились дом на дом, двор на двор. Самым обидным было, когда противникам удавалось запереть нас в крепости, а самим занять господствующие высоты – то есть заборы, крыши сараев. Тогда – мало не казалось. Приходилось лежать плашмя на снегу крепости, отбиваясь залетающими снежками и получать от обложившего «неприятеля» на всю катушку. Спасали шубейки, да меховые шапчонки, завязанные под подбородком мамами.

Весной, по огромным лужам, которые регулярно затапливали двор дома, в котором жил Володя Посчастьев, гоняли плоты из вывернутых досок забора. Что было с одеждой после таких забав и, как встречали нас матери – отдельная история…

Когда подросли, и появился первый интерес к прекрасной половине двора – пришли иные игры, исполненные некоего таинственного смысла и интереса. Стали играть в «кольцо». Смысл этой игры заключался в том, что ведущий, зажав в ладонях что либо мелкое, вроде камешка, должен был, раздвигая сложенные лодочкой ладони у сидящих в рядок игроков, незаметно обронить кому ни будь в руки камешек. Чрезвычайно волновало само прикосновение к девчачьим ладошкам. Кроме того, как правило, камешек подбрасывался той, к которой питал симпатию. Это было, как невысказанное признание в любви и воспринималось адекватно. После манипуляций с камешком следовала команда: «Кольцо, ко мне!» и, о счастье! Твоя «пассия», обманув всех, выскакивала из общего ряда к тебе. Именно к тебе…

Исполненной детской чувственностью была и игра в «садовника». Долго произносились исполненные тайного смысла

слова: «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме…»,– Мое «цветочное» имя было пион и если кто либо произносил,– «…кроме пиона», то я громко восклицал…

– Ой! – На, что следовал вопрос…

– Что с тобой?

– Влюблен!

– В кого?

Тут можно было произнести имя своего «предмета» не особенно стесняясь – игра, есть игра…

С тех, кто ошибался, или иным способом нарушал правила, изымался фантик, любой предмет, имеющий ценность и начиналось…

– Что этому фантику сделать?

Действия назначались самые невероятные, поскольку ведущий, повернувшись спиной к задающему вопрос, понятия не имел – чей фантик разыгрывается. Тут уж было все – от поцелуя до «пойди ко мне домой и вымой полы». Приходилось исполнять – закон игры не предполагал ответа: «Да, пошел, ты!». Сегодня откажешься исполнять назначенное – можешь быть уверен неделю проведешь во дворе изгоем. Кроме того – было интересно. Была в этом какая-то фатальная лихость, придти в чужой дом и сказать: «Дайте, пожалуйста, ведро и тряпку… Мне назначено вымыть у вас полы».

Потом, как-то незаметно оказалось, что мы мальчишки, целыми днями стали пропадать в подвале соседнего дома, где шла нескончаемая картежная игра. Играли в «дурака», «рамса», «очко», но, более всего, в «кинга» Кто-то из старших парней был заводилой. Мы – десяти, двенадцатилетние подшиванцы, образовывали очередь, поскольку играли на вылет.

Нам повезло, тот самый старший парень, не играл с нами на интерес, мы проигрывали только свое бездарно потраченное время. Однако, одно из этого дворового казино я вынес – понял, что я человек невероятно азартный, завожусь с полуоборота и могу в игре идти до конца, не взирая на здравый смысл.

Поняв это в детстве – в серьезную игру, ни в юности, ни в зрелом возрасте, не ввязывался никогда. Избежал и студенческого преферанса, и армейского «21», и киностудийного покера, в который проигрывались и зарплаты, и постановочные, и будущие гонорары за сценарии. На киностудии игра шла суровая, сутками, неделями… До тех пор, пока жена одного моего приятеля, не позвонила директору студии и недвусмысленно заявила: «Или вы прекращаете это безобразие, или спалю студию!».

«Девушка» была решительная, о ее твердом характере

тогдашний директор был хорошо наслышан. Поверил сразу же. И, закрывавший до тех пор глаза, на резвившихся в «чудильнике» (студийной общаге) будущих заслуженных и народных – игрища прекратил.

Но я, как-то для самого себя неожиданно перескочил из детских лет в лета взрослые, Хочу вернуться…

Двор наш, как и соседние дворы звенел детскими голосами с раннего утра до позднего вечера. Сегодня во дворах дети не играют. То есть, они, конечно, играют, но во что-то иное. Проходя сегодняшними дворами, я не вижу игр со знакомыми названиям и правилами, я не слышу азартных детских голосов, иногда за столиками, предназначенными для доминошников, которые, кстати, тоже повывелись, прозвучит нарочито громкий детский мат,– Смотрите какие мы крутые! Когда в Новосибирске, еженедельно ездил общественным обозревателем стенной печати в лагерь строгого режима №6, где сидели самые отпетые рецидивисты, обратил внимание – там мата не было слышно. Потом мне объяснили – в лагерном быту, сквернословие запрещено не «хозяином», сами зеки, считают его «западло».

Наши дети, матюгаются на чем свет стоит. Но в детские игры не играют. Может, забыли, может, никто не передал им эстафету, может другие игрушки появились, а, скорее всего, дворы наши так спроектированы, что нет в них раздолья, нет места для беготни, для подвижных детских игр, которые так необходимы для полноценного детского развития. Убогие жестяные горки, доломанные спортплощадки, межквартальные автомобильные проезды, скученность домов не стимулируют детских игр. Может, они перенесены куда-то в другое место? В компьютерные игротеки, в парки? Вряд ли!.. Дети должны играть вместе. Желание играть из них вытравить невозможно. Иногда мне приходит в голову страшная мысль – что-то изменилось в нас, в окружающем нас мире и дети мгновенно на это среагировали.

Боже! Не допусти нас до того, чтобы из городов наших, из дворов -исчезли детские голоса и детские игры, не допусти нас до опустошенности души, с которой встретился в Брагине, Чашниках, Хойниках. Пока в городах есть дети, пока они орут и играют – жизнь не закончилась!

ГЛАВА 25

Вопроса, куда поступать учиться после школы передо мной не стояло в силу бесконечной тупости в точных науках. Математика, физика, химия – были абсолютно темным лесом, по которому я плутал до восьмого класса, пока не махнул на все рукой и оставшиеся три года выкручивался, как мог, списывая, пропуская контрольные, выклянчивая тройки, которые мне ставили, понимая, что ничего со мной поделать нельзя – не приспособлен. Зато – литература, история, биология, короче, все то, что входит в перечень «наук вызволеных» – был мой конек.

Поэтому на семейном совете было решено – факультет журналистики. Даже при несомненной подготовленности, помню, нанимались репетиторы по грамматике и немецкому. Однако, как-то осилили. Поступил я на первый курс вечернего отделения. Почему вечернего, требует объяснения, поскольку, это было первым столкновением с общегосударственной дуростью.

Уж не знаю, по каким причинам было принято решение, что преимущественное право на учебу предоставлялось тем, кто имел производственный двухлетний стаж, может быть рабочих рук не хватало, может солдат, но мальчикам и девочкам, закончившим среднюю школу, было велено этот стаж нарабатывать. Девочкам – полбеды, им в армию не идти, для многих моих сверстников это постановление было сродни катастрофе. Прерывался процесс учения, вырванные на три армейских года из этого процесса, мальчики забывали все, чему их учили в школе и, тогда, светлые головы из министерства просвещения вынуждены были предоставлять им, отслужившим в армии, следующую льготу при поступлении в ВУЗ. Идеологическое обеспечение этой акции, повторюсь, было абсолютно дурацким, поскольку аргументы типа: «в высшие школы должны идти люди, осознавшие свой выбор», либо «детки высокопоставленных родителей, должны хлебнуть настоящей жизни, прежде чем занять место в аудитории», или «только поварившись в настоящей трудовой среде, можно стать настоящим гражданином» – ни в какие ворота не лезли. А судеб поломали много. Во-первых, кто не определился после школы, тому два года подсобником на производстве, никак определиться не помогали. Во-вторых, детки высокопоставленных родителей, как обходили все и всяческие запреты, так и на этот чихали с высокой колокольни. В-третьих, коли, не было в человеке воспитано гражданское чувство в семье и школе, то за два года прозябания в колхозной или производственной бригаде, среди людей мало культурных и мало образованных оно никак

укрепиться не могло, скорее можно было растерять зачатки того, что было.

Думаю, что попросту империи нужно было больше пушечного мяса, поэтому и придумали это установление, обернув его, как всегда, в насквозь фальшивую идеологическую обертку.

Тем не менее, следовало искать какой-то выход. Выход был найден, благодаря фиктивному устройству на работу в Минский художественный комбинат и поступлению, как человеку имеющему работу, на вечернее отделение. Перевелся я с вечернего на стационар через полгода, спасибо дяде Володе Ивашину мужу маминой подруги и однокашницы по медицинскому институту, в то время занимавшему должность декана заочного факультета БГУ. Все-таки люди умные встречались в те времена и среди начальства, особенно начальства имеющего отношение к образованию, понимали, что, отказывая одаренным и подготовленным юношам в непрерывном процессе образования «школа-университет», страна наносит себе непоправимый урон, обедняя свой собственный в будущем золотой фонд, фонд интеллектуальной элиты.

Группа моя, состоявшая в основном из сельской молодежи, отслужившей в армии, меня, пацана, встретила не то чтобы в штыки, но как-то очень недоверчиво. У них за плечами был примерно одинаковый багаж: сельская школа, армия, льгота при поступлении в Вуз. Они понимали друг друга, не в новинку для них был и интернатовский быт, сродни армейскому, казарменному, с пластами сала за окошком, картошкой привезенной из дома, моченой капустой. Эти три продукта – сало, картошка и капуста составляли основной студенческий рацион тех лет. Жареной на сале картошкой и кислой капустой пахло на всех этажах студенческого общежития. Этот запах казался мне исполненным романтики. Равно, как и студенческие застолья после получения «степухи». Тогда два, а то и три дня студенческая братия «кутила», пропивая половину, а то и более нищего казенного вспомоществования. У меня хватило ума на собрании профсоюзной студенческой группы, от этого вспомоществования отказаться, что основной массой однокурсников было воспринято благожелательно, но все-таки с некоторой долей высокомерия – я еще раз, пусть из самых лучших побуждений, подчеркнул, что я не такой как все. Не так, как все (в смысле, перевелся с вечернего «по-блату») поступил. И живу не так, как все, коль отказываюсь о стипендии. Значит из буржуев. Труднее было с иным – учился я, как ни крути, получше, чем все остальные. Лучше меня, не в смысле оценок, а в смысле живости восприятия, готовности понимать и усваивать академический

материал, готовности сутками не вылезать из библиотеки, в нашей университетской группе были, пожалуй, трое: Сеня Букчин – мальчик феноменально образованный, который переписывался с Корнеем Чуковским, великолепно знал поэзию русского серебряного века, профессионально сотрудничавший на радио и в газетах; Витя Леденев, который успел до БГУ поучиться в московских Вузах и поэтому, был осведомленнее нас, провинциалов; да еще, пожалуй, Эдик Ясный, большая умница, человек странной и не до конца, даже сегодня, понятной мне судьбы. Был он, вроде бы, сыном кого-то из известных, но репрессированных русских поэтов, детство провел вместе с матерью в фашистских концлагеря, на первом курсе еще щеголявший в морских штанах и форменке. Впрочем, если я чего и перепутал, по отдаленности времени, пускай друзья меня простят, так я их воспринимал тогда, такие воспоминания о них сохранил на всю жизнь и, честно говоря, не хочу отказываться от этих воспоминаний, даже если они в чем-то и не верны. Мифы иногда достоверней и занятней истины.

Как все студенты в те времена мы ездили на картошку, жили по хатам, пили самогонку, ходили на танцы в сельский клуб, где иногда, с переменным успехом, то нам «чистили физии» местные хлопцы, то мы набирали очки, оказывая им недюжинное сопротивление. В этих нечастых деревенских драках не было злобы, чувства мести – скоре, была лихость и озорство.

Как все студенты озоровали на лекциях и между ними. Иногда сбегали пить пиво (в то время продавалось в Минске бочковое чешское «Старопрамен») и непременно занимали очередь любимым преподавателям Мицкевичу и Сыроквашу, которые, случалось, за кружкой пива и читали нам лекции, один по русской литературе, другой – по белорусской. Следует заметить, что группа наша была в основном русскоязычной, дискуссий о родом языке, как правило, у нас не было. К белорусскому относились спокойно-иронично. Не подозревая, что на отделении белорусского языка, на историческом факультете в это время происходили глубокие студенческие брожения, выливавшиеся в трагические акции протеста, с исключениями из университета, и иными репрессиями. Бог боронил, удавалось избегать акций публичного осуждения. На них, где пламенные комсомольцы призывали изгнать, выкорчевать, исключить поросль «националистической молодежи» удавалось не присутствовать, не взирая не разнарядки и требования придти и выступить с осуждением. Видимо, ощущение, что все эти массовые сборища, истеричные осуждения, есть нечто непотребное в глубине души присутствовали, но был бы

неискренним, если бы вдруг «вспомнил», что сам протестовал, сам пострадал и т. д. Мне хватило одного столкновения с неправедной толпой комсомольских осуждателей, когда руководитель литературного объединения при «Знамени Юности» поэт (поэт!) Петр Волкодаев, который по роду службы должен был, видимо, докладывать, куда следует об умонастроениях молодежи, доложил о моих первых литературных опытах и меня, шестнадцатилетнего пацана, взяли в «оборот», причем такой силы, что чуть не вылетел из комсомола и из Университета. Стишок то был простенький, до сих пор помню:

Руки юношей не для того, чтобы гладить плечи любимых.
Руки юношей – созданы для рукоятей;
Губы – для предсмертного хрипа.
Глаза –
Для того чтобы в прорезь прицельной планки
Ловить, бегущие силуэты.
А, волосы – вовсе не нужны юношам,
Они встают дыбом от ужаса,
Поэтому юношей стригут наголо…

Нужно отдать должное моим однокурсникам, может быть в силу своего жизненного опыта, а может, просто, не принимая меня всерьез, они к этой истории со стихами отнеслись прохладно и «додавливать» не стали. Потом она затихла сама собой. Думаю, более того уверен, что опять должен сказать доброе слово Владимиру Григорьевичу Ивашину, а, может, Григорию Васильевичу Булацкому, нашему декану, а может…

Впрочем, что гадать, у нас на журналистике, были замечательные преподаватели и, если, уж, не давили их «по черному» различные партайгеноссе, старались своих мальчишек не выдавать. Помню, на защите диплома, в клубе журналистов, председатель Госкомиссии, тогдашний редактор «Звязды» и член бюро ЦК Пыжков, после моего выступления бился в истерике и требовал, либо поставить двойку – либо он выходит из членов комиссии. Сам не слыхал, считал ниже достоинства, но девчонки наши подслушивали у двери и рассказывали потом, что весь женский персонал кафедры встал против сановного дуролома горой, даже милейший, тишайший Марк Соломонович Зерницкий, который в бытность свою редактором районки, не ложился спать не подготовив, на всякий случай, «сидора» с теплыми вещами и тот рискнул возмутиться: «Мы тут, столько пятерок поставили за всякое г-но… А, это же серьезная работа!..».

Короче отстояли, поставили мне четыре балла. И на том – огромное спасибо!

Но не всем, с кем мы вошли на первом курсе в аудиторию,

довелось вместе добраться до выпускного вечера. Погиб Эдик Аединов. Погиб на втором курсе, совершенно нелепо. Выпал из окна четвертого этажа. Это была первая потеря. Потеря, увы, невосполнимая. Были и иные потери, связанные с бездушностью и дурью нашего государства, незабвенного СССР. По-моему с третьего курса забрали в армию Витю Захарчука и Сеню Букчина. Какой военной необходимостью был вызван этот идиотский призыв студентов, которым осталось учиться всего ничего до сих пор не пойму. Кому стало «легко и весело» стало оттого, что Витька пропустил два года и вернулся в университет, когда мы уже выпускались? Кто и какую справедливость ублажил оттого, что Сеня, уже на третьем курсе готовый написать и защитить кандидатскую диссертацию, должен был ковырять лопатой радиоактивный грунт в Красноярске-25?

Какая к черту справедливость! Ею тут и не пахло! Даже в годы военного лихолетья студентов не гребли подчистую в войско. Вспомните, как возмущалась российская общественность, когда за провинность перед Государем императором, сдавали студентов в солдаты. Так, то – за провинность, и не всех подряд, а выборочно… Нет! СССР должен был погибнуть, должен был развалиться, в том числе и оттого, что не берег, не лелеял «собственные мозги» – студентов. Как говорится в пословице – если Господь хочет наказать человека, первым делом лишает его разума. Не то ли самое происходит и с государством не уважающим, не ценящим своих студентов, свое будущее.

Как было немыслимо обидно нашим ребятам, впрочем, как и всем остальным разделившим их судьбу, покидать студенческую аудиторию и отправляться в армейскую казарму, понял сам, потом, когда, получив диплом, пошел по их стопам «отдавать долг родине». Но, я то был уже с дипломом, он грел мне сердце. Я то уходил на год, а не на два, как они. Я мог расценивать свою армейскую эпопею, как журналистскую командировку. Пусть, длительную, но с ясным финалом. И то, насколько это было тяжело. Не физически, хотя и физически тоже,– нравственно. Одно я вынес, осознав то, что сотворила страна с моими однокурсниками, что сотворила со мной – армия должна быть профессиональной. В армии должны служить люди, которые хотят там служить (есть такие!), тогда не будет дедовщины, тогда пореже будут сообщать матерям: «Погиб при исполнении служебного долга», тогда и сама эта формула будет носить более нравственную окраску – он сам хотел, сам выбрал. Тогда безответственные господа в погонах будут чувствовать свою ответственность перед законом: не досмотрели, не обеспечили, проявили халатность, превысили полномочия, не уберегли

«ценное имущество» государства. До сих пор в армии этого нет. Никто не несет ответственности за солдата. Кто он такой? Почти «зек» по своим правам, по своему быту. Так происходит во всех армиях, сформированных «по призыву». Государство, смею думать, совершило неслыханное головотяпство, забривая студентов в армию. Прежде всего – разрушило принцип ее закрытости, кастовости. Студенты, придя в армию во время учебы и, некоторые, оставшиеся в ней после окончания вуза, подвергли сомнениям многие постулаты, которыми армия жила дотоле.

И все же, не смотря ни на что, считаю – время, проведенное в Университете – было замечательным, потому что можно было читать, спорить, озорничать, ходить в театры, набираться эмоций, знакомиться с людьми, общаться с преподавателями – закладывать фундамент и интеллектуальный и нравственный всей будущей жизни. Для этого и отпущены нам самые прекрасные, самые замечательные, самые наполненные годы – студенческие.

ГЛАВА 26

Государство – это власть, формула стара, как мир. Но власть всегда персонифицируется с людьми. Кто-то исполняет роль Кира Великого, кто-то его сатрапов, кто-то первый секретарь райкома, кто-то председатель райсобеса, кто-то властитель дум, мудрец, с которым советуются короли, кто-то шут, который над королями потешается. Мир пронизан властными связями и в нем идет постоянная борьба за власть, за право быть главнее, за право приказывать, за право навязывать свое мнение.

Мой город, поскольку он город стольный, никогда не был обделен носителями власти. Просто, пока я был мал и глуп, власти предержащие были где-то чрезвычайно далеко, существовали, как бы вне меня, вне моих интересов. С возрастом эти связи стали проявляться, становиться явственней. В школе председатель пионерского отряда Тася Томелло, поскольку была самая примерная девочка, проводила сборы, рассказывая по писанному учительницей конспекту, как нужно вести себя и, как учиться, а мы салютовали и повторяли, как мартышки на ее призыв: «Будь, готов!», «Всегда – готов!», при этом не задумывались над тем, а, к чему, собственно, мы собираемся быть готовыми. Следует заметить, Тася, как только снимала пионерский галстук и, вместе с ним личину пионерского функционера, была очень хорошей девочкой и готова была шкодить и озорничать не хуже самого «отвязанного» мальчишки.

В университете, секретари комитета комсомола имели больше власти идеологической, председатели профкома – власти материальной – от них зависела и стипендия и место в общаге. Секретари партийной ячейки, были вроде небожителей, у них были тайные сборища, партсобрания, на которые они уходили с лекций, и, помню, обсуждали какие-то закрытые письма ЦК, персональные дела преподавателей. Секретарям партячейки никогда не ставили двоек, даже если они были «дубами» по определению. И все это было связано, сцементировано некоей тайной силой, которая во всем была осведомлена, была в курсе всех событий и, представители которой, могли запросто требовать, что бы любой из нас проявлял к ним лояльность и сотрудничал с ними. Помню, как бился в истерике, подвыпивший наш комсорг Миша Герасимович, когда его взяли в оборот эти самые, тайные представители высшей власти, заставляя доносить и «стучать» на своих однокашников. При этом «конторские» очень редко проявлялись в своем натуральном виде, их деятельность проходила, где-то за стенами и дубовыми дверями, куда

вызывали представителей всех иных «ветвей власти» для собеседований, для того, чтобы сделать «накачку», заставить, вынудить делать подлости. Кураторы от «конторы» никогда не любили делать, что-либо своими руками – они, как бы, всегда стояли в стороне. Благо, никогда не было недостатка в «павликах морозовых». В те – шестидесятые, студенческие годы, «контора» была еще реально сильна и опасна и, если, не могла отправлять эшелоны в ГУЛАГ, то обеспечить, волчьим билетом, исключением из вуза, психушкой отдельно взятого студента – это запросто.

С этой властью, как-то свыкались. Поскольку город маленький и все всех знают, то и «конторские», случалось, светились. Светились либо из-за того, что и среди них попадались люди разумные и совестливые, либо просто, сменив тактику, научились мягко стелить, там, где в прежние времена укладывали спать на жесткое ложе. Уже, работая на киностудии, будучи членом трех творческих союзов, уважал длинного, тощего, веселого Валерия Афанасьевича, куратора от КГБ «по творческим вопросам». Он разбирался в людях, знал всем цену. Наверно у него были и свои осведомители – не без этого, но при всем том, Афанасьевич очень хорошо ориентировался в людях, знал, кто никогда на контакт с ним, как с должностным лицом не пойдет, поэтому зря не приставал, не пытался «вербануть» во что бы то ни стало. Жаль его, умер, не дослужившись до полковника, посланный в чернобыльскую командировку, облучился и неожиданно рано умер.

Но, случалось, попадали и неофиты-энтузиасты, особенно среди тех, кто только начинал карьеру. Иной раз забавно было наблюдать за попытками юных лейтенантов напустить на себя важность, напугать или подольститься – было в этом что-то от студенческих лабораторных работ. Но это было много позже. Тогда, в юношеские времена и сила у них была, и напугать умели до «потери пульса».

И, все таки, их боялись уже не так сильно. Что-то сломалось в механизме власти – люди научились сопротивляться. Стало очень трудно «организовывать» общественное мнение против студентов, отстаивающих свое национальное самосознание. Таких процессов в университете, на моей памяти, было два или три. Да, исключали из вуза, выгоняли из комсомола, но ребята уходили не сломленные и вся остальная студенческая масса, относилась к ним с пониманием и сочувствием, чего никак не скажешь об отношении к тем, кто топтал наивных «инсургентов», имея в виду, некие свои шкурные интересы. Их молча презирали, вокруг них более не светился ореол верных борцов за правое дело.

Это – дела мальчишеские, но сопротивлялись давлению и

люди зрелые, и, даже, сами облеченные немалой властью. Было много разговоров о некоей группе писателей и художников, которые что-то читали, о чем-то разговаривали. До нас это доходило глухо. Боюсь соврать, но, кажется, в эту группу каким-то боком входил и Владимир Васильевич Матвеев, человек искренне мною уважаемый, с которым пришлось много и основательно работать в его бытность министром кинематографии. Я никогда его об этом не спрашивал, но со студенческих времен помню разговоры, что от него, помощника первого секретаря ЦК, как от студента, потребовали от кого-то отказаться, кого-то осудить. Он послал советчиков подальше, поставив крест на своей, так блестяще начатой карьере. Назначение Матвеева редактором «Сельской газеты» было равносильно ссылке. Однако, человек талантливый, он не сдался и быстро, в течении полугода, сделал самую «зачуханную» белорусскую газету, самой читаемой и самой тиражной.

Нынче модно стало делить общество на приверженцев коммунистической идеи и демократов. При этом демократов поносят, как могут, за то, что жизнь стала поганая, что они, придя к власти, все испортили. Поминают им, как хорошо и сытно жилось при коммунистах. Хотелось бы спросить, обиженных: «А, когда, собственно, вы видели демократов у власти?». Пользуясь полузабытой терминологией митингов времен романтической эйфории, могу с уверенностью заявить: «В нашей, Богом спасаемой стране «партократы» никогда из власти и не уходили». Стоит, как следует потереть любого, кто сегодня «косит» под демократа и проявится его коммунистическое нутро. Назовите любую фамилию, потрите с песочком родословную – он оттуда, «партайгеноссе», просто хорошо и быстро перекрасился, что, несомненно, говорит о выдающейся способности коммунистических бонз к мимикрии и приспособленчеству. Разница лишь в том, что и среди "«демократов"», и среди тех, кто сегодня у власти -– люди второго и третьего эшелона партийных функционеров. Как говорится, тех же щей, да пожиже влей. «Твердые ленинцы» прошлой эпохи были дисциплинированы, не дай Бог, кто ни будь осмелился бы «брать не почину» – своя свора сожрала бы. Кроме того, поднимаясь по ступеням номенклатурной лестницы, усваивая правила партийного лицемерия, они, по дороге, знакомились и с людьми, и с проблемами.

Это вовсе не значит, что вникали в проблемы и пытались поступить по уму, нет! Партия приказывала строить БАМ – строили; приказывала повернуть северные реки на юг – чуть-чуть не успели, а то бы вмиг завернули; а у нас на родине наворотили

«на всю катушку» – и болота осушили, устроив Сахару в центре Европы, и хутора, вместе с «неперспективными» деревнями отселили, доломав хребет не единожды ломаному на дыбе крестьянству – спешили салютовать: «Всегда готовы!». Но при этом шипели сквозь зубы: «Дурь на дури и дурью погоняет!».

Нынешние властители и жадней, и циничней, и наглее – одно слово, недоучившиеся троечники.

Вот и встает вопрос, что же это за сладость такая – власть, что и совестью готовы из-за нее поступиться, и отца с матерью презреть, и на отчий дом наплевать.

Жажда власти – производное от личной несвободы. Никогда не размышляли, а почему это в нашей истории у власти в основном выходцы из деревень, инженеры, крепкие хозяйственники, бывшие милиционеры и ни одного философа, карьерного, как теперь говорят, юриста, поэта, на худой конец – актера, как не самый худший президент Соединенных Штатов? Видимо, потому, что человек гуманитарного склада ума всегда может укрыться в самостоятельно выстроенном мире исполненном созерцания и размышлений, он может удалиться во внутреннюю эмиграцию, он может творить, не взирая на окружающую действительность, он уверен, не буду понят сейчас, приду к следующим поколениям.

«Крепкому хозяйственнику» легче рассуждать о винтиках и болтиках, о точном и четком их взаимодействии (не отсюда ли терминология социализма о «людях-винтиках?); он оперирует бездушными понятиями, живет в неодушевленном мире, он понимает, чем больше у него власти, тем больше он сможет завернуть винтиков, то есть – больше сможет подчинить людей своей воле. Это иллюзорное представление. Однажды приятель юности – комсомольский начальник, убеждал меня: «Понимаешь, если я стану Генсеком, я смогу все переделать, все изменить. У меня для этого будут неслыханные возможности». Мое возражение звучало примерно так: «Видишь ли, пока доберешься до заветного кресла, придется столько задниц подлизнуть (селекция, брат, селекция…), что вкус дерьма, станет слаще меда и забудешь – зачем, ради какой цели вышел на эту дорогу».

Власть иссушает душу, развращает ее. Человек становится рабом власти. Те, кто кроме сопромата изучал историю и литературу помнят, судьбу Креза – самого богатого в древнем мире человека. Утеряв все – богатство, страну, власть, он обрел иную свободу – быть самим собой, мудрым советчиком, верным другом. Пройдя, через испытания утраты власти, он приобрел истинную свободу. Точно так же как и император Диоклетиан, отринувший скипетр и отправившийся выращивать капусту на

своем участке под Византией. На вопрос придворных, приехавших его увещевать и молить вернуться к власти – доисторический, но абсолютно реальный император воскликнул: «Ну, что вы все про власть, да про власть… Посмотрите, какую чудную капусту я вырастил! Кто еще в мире может вырастить такую же?».

Нужно иногда иметь мужество, чтобы отказаться от власти, как отказываются от наркотика. Отказаться, чтобы сохранить свою личность, свою душу. Конечно при этом следует быть уверенным, что душа и личность в тебе присутствуют и заслуживают уважения. И не только у тех лизоблюдов, которые всегда паразитируют при власти, но и у тебя самого.

Однажды по дороге из Киева, в купе поезда разговорились с попутчиком. Он оказался удачливым бизнесменом, имеющим совместное с венграми дело. Попутчик долго и пылко рассказывал о своем бизнесе, о том, как он зарабатывает деньги. Я спросил его,– Представь себе, что ты стал чемпионом мира по собиранию денег? Что дальше?

Парень подумал и сказал,– Дальше власть!

– Ну, хорошо, власть!.. Представь, что тебе повезло, и ты стал к чемпионом мира и по собиранию власти… Дальше, что?

Парень крепко задумался, но, поскольку, как мне кажется, был вовсе не глуп, ответил:

– Дальше следует подумать о Боге…

– Друг мой! Зачем же было огород городить. О Боге следовало начинать думать, до того, как исковеркал душу погоней за деньгами и властью!

Я надеюсь, что этот парень, мой случайный попутчик, живет где-то в моем городе. Надеюсь, что тот вагонный разговор, отложил некий отпечаток в его сердце, заставил задуматься, поскольку не знаю никого, кому власть принесла бы успокоение, привела бы к миру с самим собой. Посмотрите на тех, кто обладает властью, любой, пусть даже просто властвует над собственной женой – воистину это несчастные люди, они лишены друзей, их никто не любит, за них никто не молится, они лишены простых человеческих радостей, они одиноки даже в таком городе, как Минск, в котором все друг друга знают.

Ни один властолюбец в истории не оставил о себе доброй памяти. Перед ними трепетали, их боялись, их проклинали, память о них сохранилась только благодаря их злодеяниям. И даже тех, кто хорошо начинал (вспомните царствование Ивана IV), логика власти привела к гибели.

Воистину, не Божье это дело – Властвовать!..

ГЛАВА 27

Когда самолет с Горбачевым, прилетевший из Фороса приземлился в Москве, мы стояли на площади у дома правительства. Мне стоять надоело, я пошел домой, включил телевизор и увидал вальяжного Ельцина, подталкивающего растерянного Генсека к трибуне. Горбачев слегка упирался, но старался при этом сохранить хорошую мину, а Ельцин что-то ему бормотал, типа,– Давай, давай, смелее… Не бойся, дурашка, больно не будет!..

И Горбачев, подписал документ об отказе от «руководящей и направляющей» рои партии. (Какой же это был параграф Конституции? Вроде бы шестой… Ну, надо же – запамятовал!..). Так, вот, за пятнадцать минут до этого знаменательного события я был уверен, что доведется мне жить и умереть при этом самом шестом параграфе, такой казалась нерушимой власть коммунистов. Рухнула, однако, в одночасье, и никто не ринулся ее защищать, никто не поднял на баррикадах красное знамя.

Почему так произошло? Размышляя над этим, перебрал свои взаимоотношения с «умом, честью и совестью всего прогрессивного человечества» и, как мне кажется, разобрался.

Родители мои вступили в партию на фронте. Верили ли они в коммунистическую идею? Очень сомневаюсь. Отец много лепил Ленина, Не те, парадные портреты, которыми скульптора зарабатывали «бабки», а нечто иное, в чем я не всегда мог разобраться. Он, словно, мучительно искал какие-то ответы и, как всякий скульптор, пытался выразиться, высказаться, создавая визуальные образы. Мне было непонятно, почему Ленин у него такой хмурый, почему глядит из-подо лба, словно мучает его невероятная головная боль, словно оглядывает окружение недоверчивым, подозрительным взглядом.

Что-то стал понимать, когда в Москве забрел в музей Ленина и, поднявшись на самую верхотуру, попал в маленький зал, в который, видимо, не всякий добирался. В зале и в самом деле никого не было. Зато висели рисунки Ленина, сделанные с натуры художником Альтманом. Тогда понял, почему здесь так пусто, зал был расположен так, что бы его никто не нашел и эти рисунки не увидал. Ленин на рисунках был вовсе не «самым человечным человеком», а производил впечатление маленького, усохшего и очень злобного хорька, с татарским разрезом глаз и иезуитской полуулыбкой, полуоскалом. Еще не было никакой перестройки, еще не появились в печати валом пошедшие разоблачения этого благородного гения, еще не

выкристализовалась мысль, что Сталин самый последовательный продолжатель его дела, еще казалось, что времена сталинского шабаша и на самом деле пора извращений ленинской линии.

Мы, ведь, в юности очень много рассуждали и о Сталине и о Ленине. Догмы ленинизма были вбиты в наши головки столь основательно, что, видит Бог! – даже мысли о том, что человеконенавистническая идеология была заложена еще Лениным, не возникало. Помню, чуть не набил морду одному московскому приятелю, который, между делом, поделился информацией, видимо в Москве хорошо известной, но для нас, провинциалов, абсолютно недоступной, что страдал вождь от наследственного сифилиса, поэтому был злобен, мстителен и безжалостен. (Когда увидал рисунки Альтмана, все встало на свои места – поверил сразу).

Но в юности жизнь казалась простой и ясной – пионерская организация, потом комсомол, потом партия. Для партии, однако, я был слишком молод, в университет поступил – шестнадцати не было. Поэтому чаша сия в студенческие годы передо мной не маячила, хватало комсомола. Когда пошел в армию, отец в письме мягко посоветовал, а не вступить ли мне в коммунисты. Показалось, даже романтично, отец вступил на фронте, а в советской армии. Правда, смущали отцовские рассуждения о том, что при моей профессии, без членства в партии, на карьере можно поставить крест. По зрелому размышлению, я отцовскую пропозицию принял, парень я был амбициозный, и «ошиваться» всю жизнь в районке в мои планы никак не входило.

Здесь прервусь, поскольку этот момент, в моих последующих размышлениях о том, почему так безболезненно умерла партия, чрезвычайно важен. Думаю, что среди одиннадцати миллионов советских коммунистов, 99% размышляли, примерно так же, как и я. Партия для них не была символом, путеводной звездой, сообщностью единомышленников, а только необходимым условием для более или менее нормальной жизни в предлагаемых условиях. Изменились условия и все 99% легко и просто оставили это постылое учреждение.

Однако заявление о вступлении в партию в армии – написал. Все катилось по накатанному: собрание комсомольской ячейки – «единогласно», собрание партгруппы – «единогласно» и, вдруг, сбой. В политотделе части мои документы завернули. Было обидно. Обратился к начальнику политотдела. Он вызвал меня, мы с ним долго разговаривали, он объяснял, что у меня имеется один не снятый наряд на работу от старшины роты. Я недоумевал, наряд получил за плохо почищенные сапоги, такие наказания плево получались и плево снимались. В тоне

начальника политотдела, однако, прослушивалась ложь. Смысла ее не понимал, но то, что она есть – чувствовал. Ситуация прояснилась, когда расставаясь генерал небрежно бросил, что-то про мои письма домой. Тут, все стало на свои места. Уразумел, что письма перлюстрировались, само по себе это было нормально, следовало хранить военную тайну, но никаких тайн я не знал, делился мыслями о бардаке, о безобразиях, о дедовщине. Короче, военно-политическое начальство недвусмысленно дало понять – думаешь, больно много и не так, как следовало бы.

Понял! Не дурак! Более попыток «проникнуть» в партию в вооруженных силах не предпринимал.

Следующий заход, следующую попытку предпринял уже на гражданке, работая в редакции «Літаратуры і мастацтва». Партбюро было при Союзе писателей. Это налагало некую ответственность, казалось, что там, в Союзе писателей должны быть серьезные вдумчивые люди, поэтому непонятно было, почему парторг наш, готовя меня, неофита, к заседанию бюро, требовал обратить внимание на абсолютно дурацкие вопросы, вопросы ответы, на которые были заучены еще в школе. Казалось странным, они, что в партию идиотов принимают? Следует заметить, что кроме идиотских вопросов, на которые я, удивляясь, писательской мелкотравчатости, давал не менее идиотские ответы, был и один, который заставил похолодеть. Иван Петрович Шамякин, который заседал тогда в партийном бюро, спросил: «Как вы думаете, какой самый большой, самый значимый изъян у современной молодежи?». Не задумываясь, брякнул: «Бездуховность!». Брякнул и похолодел, увидав, как «схамянууся», готовивший меня к заседанию бюро парторг. Иван Петрович, однако, удовлетворенно кивнул головой, видимо, мой ответ совпал с какими-то его собственными размышлениями.

Эти игры в вопросы ответы, родили некоторое насмешливое отношение ко всему действу. Я-то, рассчитывал и надеялся, что все это всерьез – оказалось, какая-то странная игра, когда глупость выдается за многоумие.

Дальше – больше, все живые человеческие чувства и реакции партийными органами воспринимались как некие нарушения устоев, обсуждались и осуждались абсолютно всерьез. И в этом тоже была некая ложь и игра, наподобие подкидного дурака. Самыми нелепыми были встречи на парткомиссии. Эту инстанцию приходилось посещать довольно часто и при выезде за границу, и при утверждении в должности, и при наложении взысканий, на которые моя партийная жизнь была не бедной. Трудно было всерьез воспринимать выживших из ума, но невероятно самодовольных и самоуверенных старичков, членов

этих самых комиссий, которые смотрели на тебя пронзительными глазами и, абсолютно в духе тридцатых годов, серьезно убеждали, например, что за кордоном ко мне, туристу, непременно будут вязаться провокаторы, пытаться выведать, как у Мальчиша-Кибальчиша, великую военную тайну и все такое прочее. Насколько эта дурь была основательно вбита в закомпостированные наши мозги свидетельствует такой факт. Поехали мы с группой белорусских художников в Прагу. Спускаясь по лестнице в отеле, услыхал, как поднимавшаяся по лестнице наверх группа таких же туристов, что-то живо обсуждает на такой родной, нашей «трасянцы». Не желая ничего плохого, поприветствовал: «Прывітанне, землякі!». Земляки, чуть не попрыгали в лифтовую шахту – были уверены, вот оно, состоялось – провокация, о неизбежности, которой так долго предупреждали большевики. Было смешно и горько!

Или, еще такой пассаж! На киностудии я всячески избегал воскресных поездок на картошку, никак не мог понять, почему колхозники едут на базар, а мы, в порядке шефской помощи, вместо них движемся на поля. Экономически – это было полная бессмыслица. Картошки, за выходные мы больше закапывали, чем выкапывали, но подвергать ревизии линию партии на шефскую помощь – не моги! Однажды не уберегся. И так «карта легла», что тот самый день оказался днем рождения Жоры Семенова, нашего художника. Шел противный дождь, было сыро и гадко… Далее, надеюсь, понятно – у кого-то образовалась бутылка, у кого-то другая, пошло-поехало… Одним словом, увидав, как мучаются в борозде, наши женщины, а рядом стоит незадействованный трактор, я вознамерился этот трактор завести и одним махом картошку вывернуть на поверхность земли. Уговорили женщины,– Олег Павлович! Мы тебя очень просим, ну его, к черту, этот трактор…

Знаете, за что «канали» в райкоме партии? Не за пьянку, даже не за хулиганство… За то, что подрывал партийную линию! Всерьез! Старички «комиссионеры», чуть из партии не исключили. К тому времени пиетета перед «партийной линией» в душе не осталось уже ни капельки. И веры в некую ее миссию тоже. Было ощущение сплошной глупости, в которую почему-то вляпался, и выбраться нет никакой возможности.

А за плечами был ведь еще и XVII съезд комсомола, на который попал по ошибке. Не в ту таблицу вписали, а потом, отправив список в Москву, побоялись сообщить, что ошиблись – так и попал в делегаты. Вот, где насмотрелся! Во-первых, вагоны поезда, везшего нас в Москву, качались, гуляли комсомолята. На перроне, в Москве, секретарей вывели под белы руки, невменяемы

были от пьянки. В гостинице Россия – талоны, папки, подарки – все бесплатно. И еще у каждого в нагрудном кармане пиджака, привезенные в Минск, да и не только в Минск, во все столицы республик, специальным нарочным, отпечатанные типографским способом бумажки с лозунгами, которые следовало выкрикивать, вскакивая в единодушном порыве! Это, почему же так! – думал,– За кретинов нас всех держите, что шпаргалки для памяти понаписывали, или сами из того же теста, видимость деятельности симулируете?

И было круглосуточное, как не в себя, водкопитие. Какая идеология, какие высокие чувства. В театре «Ленинского комсомола» давали для делегатов съезда спектакль «Автоград». Прямо со съезда часть делегатов должна была отправиться на строительство БАМА. Так вот эта часть, жрала водку, сидя на полу в зале, сидя на спинках кресел. Содом стоял невиданный и неслыханный! Актеры, чего-то на сцене изображали, делегаты их не слышали, да и не хотели слышать. Пели, орали, только, что морды друг другу не били, строители коммунизма! И каждый день в зале дворца съездов «вынос полутрупов» – явление членов Политбюро с расслабленным Брежневым во главе. Я был в четвертом ряду, мне все было видно – зал, заглядывая в бумажки, что в нагрудных карманах вопит здравицы, а главный «полутруп» плачет от умиления и восторга, В самом деле, что ли, верит в эту «лабуду»? Ну, нельзя же! Нельзя, нормальному человеку все это показывать! От этого рехнуться можно! Как же мы живем! Кто же нами правит! Кто же палец свой дрожащий на ядерной кнопке держит! А, эти-то, те, что на смену готовятся и не просыхают при этом? Каковы они? Как увидал в 91 дрожащие от запоя и страха руки Янаева, как раз тот съезд и вспомнил!..

Нет! Партия коммунистов изжила себя. Профукала и страну и власть. И нечего сегодня «лямантаваць» про великую страну, великую державу. Не было в ней ничего великого, сплошная ложь и мерзость. Спасти страну, построенную на лжи, на подлости, на неверии, на цинизме было нельзя. Она должна была умереть. И похоронить ее нужно было быстро и незаметно и без помпы, чтобы стыда никто не заметил, за то, что этот урод так долго отравлял мир своим смрадом.

Поэтому, никто и на баррикады не вышел, поэтому и защищать труп былой империи не кинулся. Пусть мертвые сами хоронят своих покойников. Живые должны думать о жизни.

Одного жаль – десять лет назад, рухнул колосс, даже не на глиняных, на бумажных ногах, а в моем городе нет-нет, да и пахнет, откуда ни будь из подворотни смрадным запахом разложившегося «ума, чести и совести». Или вдруг встретится на

улице, кто-либо из тех, прежних. И не стыдно им, подрумянились, подштукатурились, одеколоном облились, что бы падалью не воняло, и продолжают бубнить по бумажке о светлом будущем всего человечества.

Хорошо в таких случаях мой старшина в армии говаривал, грубо и просто, по-армейски…

– Закрой поддувало! Триппером тянет!..

ГЛАВА 28

Отец купил свой первый автомобиль в 1951 году. Это была слегка подержанная «Победа», которую срочно продавал военный летчик, переведенный куда-то не Север. Помню маленький городок, в котором он служил. Помню квартиру с открытыми настежь дверями, удивление по этому поводу отца и предложение пилота войти в дом. Войти, отец вошел, но выйти не смог. У порога легла огромная черная овчарка с желтыми глазами и дала понять, что выйти из дома без распоряжения хозяина никто не сможет.

Странные особенности человеческой памяти, не так ли? Казалось бы, причем здесь собака? Но в памяти эти два «кадра» смонтированы накрепко – автомобиль и собака. Далее в моем повествовании о родном мне городе этот пес появляться не будет – летчик улетел, собака исчезла, автомобиль остался у нас. Водить машину отца учил его коллега скульптор Лева Роберман. С тех пор появилась в душе неистребимая тяга к автомобилям, страсть к вождению, которая в какой-то степени передалась и сыну. Лежа в колыбели, он безошибочно по звуку мотора определял, какой марки автомобиль проехал по улице. Бальзамом для души была нечастая, увы! фраза: «Старенькая «Победа»… Стареньких «Побед» к тому времени, когда сын научился выговаривать их название, осталось в Минске немного. Немного их было и тогда, когда мы ее приобрели. У меня такое ощущение, что количество частных автомобилей в городе было до смешного невелико, и их владельцы знали друг о друге досконально. Знали владельцев автомобилей, что называется в лицо, и гаишники. Их тоже было не очень много, они лихо размахивали жезлами на перекрестках, свистели в свои заливистые свистки с круглым костяным шариком внутри. Гаишники и водители составляли, как бы некую общность. С одной стороны они были антиподами, с другой одни без других не существовали. Каждый знал свою роль, слова, жесты, мизансцены были не единожды отрепетированы и тот, кто выбивался из рисунка роли вызывал искреннее изумление. Постовой никогда не спешил подходить к остановленному им автомобилю. Водитель выходил первый и спешил к постовому с дурацкой фразой: «В чем дело, сержант?». При этом автовладелец приблизительно знал, что взбрести в голову сержанту может все, что угодно. Нужно было учитывать его настроение, настроение его начальства, жены, принятую вчера сержантом «дозу», его сегодняшние потребности и постараться «попасть в масть». Впервые увидал, как работают профессионалы

дорожного движения много позже, когда случилась оказия путешествовать на автомобиле по Германии. Во-первых, там полицейский никогда не остановит вас просто так, для «проверки документов». Если нарушения не было – не будет и остановки, поскольку полицейскому, который остановил вас «просто так» вы можете вчинить иск, доказав в суде, что беспричинная остановка нарушила ваши дела и вы потерпели убытки. Во-вторых, полицейский никогда не остановит вас, если он один. Напарник всегда будет контролировать салон, стоя сзади, слева в очень неудобной для водителя зоне, если ему, водителю, вдруг вздумается стрелять в полицейского. В-третьих, не дай вам Бог, выходить из машины навстречу постовому. Тут уж вы сами рискуете нарваться на крупные неприятности, поскольку ваш, абсолютно понятный для «совка» жест униженной вежливости, может быть расценен, как агрессия. Нет, уж, сидите на своем месте, приспустите окошко и протягивайте документы полицейскому, который остановится на точно расписанном инструкцией месте слева и чуть сзади от вас. И это, опять таки, говорит о профессионализме, вам будет удивительно неловко в этом случае, воспользоваться оружием. Вот так и сидите, под двумя внимательно контролирующими вас взглядами, стерегущими любой ваш жест. Я думаю, что где-то в недрах Гаи существует статистика, сколько раз наши постовые нарывались на пули всяческих «братков», которые были, конечно же, во все времена, только из-за того, что действовали непрофессионально, чувствуя себя на дороге полновластным «хозяином-барином».

Но восхищение продуманным профессионализмом западных полицейских, равно, как и восторг, оттого, как им удается организовать движение, насколько они корректно-доброжелательны, придет позже. В те же «золотые» времена вольницы и разгильдяйства на дорогах советского союза водитель и милиционер дорожно-постовой службы, случалось, вступали в продолжительные дискуссии, и либо находили приемлемые решения конфликта, либо расставались пособачившись друг с другом всласть и с угрозами типа: «Я тебе это попомню!».

Правда, первые мои впечатления о работниках Гаи были вполне розовые. Может быть потому, что еще не пришло мое время браться за руль. Связаны они были с юным сержантом Федей Тупицей, который приезжал в наш двор к своей сестре на мотоцикле совершенно роскошном. Он был благожелателен, улыбчив, никогда не гонял нас, пацанву, если мы усаживались в кожаное седло на пружинах и с шумом и гамом, толкали мотоцикл по двору, имитируя бешеные погони и преследования. Наоборот, когда Федя был в хорошем настроении и располагал

временем, случалось, заводил мотоцикл и «насыпав» нас полную люльку, куда ни будь недалеко прокатывал. Федор впоследствии стал большим начальником в Минском Гаи, по-моему, полковником, начальником чего-то очень серьезного, мне было до него не дотянуться, да и вспомнил бы он меня вряд ли. Но отца помнил, уважал и иногда, по какой либо гаишной надобности способствовал. Ой! только не надо, я вас умоляю, не надо говорить, что вечно люди заметные найдут какую либо щель, в которую простому человеку никак не пролезть. Ерунда все это! Просто Федор Тупица, был минчанин, к соседям, пусть даже к соседям сестры, относился по соседски, то есть по человечески и, в рамках своей компетенции, когда мог помочь, помогал – это же так естественно.

Первые свои права я получил в 16 лет. Была такая возможность. По-моему, такие права назывались юношескими. Сдавал на права в компании со взрослыми. Самое сложное – была разводка. На картонном перекрестке экзаменатор выстраивал ситуацию, по простому, расставлял игрушечные макеты автомобилей, говорил, кому, куда следует ехать, какой свет на светофоре и так далее, и экзаменуемый должен был ситуацию «разрулить». При мне один растерянный соискатель получил пять баллов за совершенно гениальную фразу: «Ой, вы знаете, я, таки, не буду спешить… Пусть все разъедутся, я поеду потом!». Как ни смешно, но фраза эта, застрявшая в памяти, помогала иногда в ситуациях, отнюдь не шутейных.

Очень заметной была фигура постового на перекрестке возле Гума. Не помню ни имени его, ни фамилии, ни прозвища. Был он невысок ростом, коренаст, черноволос, имел большой крючковатый нос, чувствовал себя полным хозяином перекрестка, был артистичен, знал всех и каждого, кто перекресток пересекал на автомобиле, говорили в Минске, что все партийное и советское начальство города с ним знакомо и, что он единственный в обход всех правил норм, получил лейтенантские звездочки (постовые на перекрестках в те времена выше старшины не «вырастали»). С лейтенантскими погонами этого замечательного «мента» в те дни поздравляли, по-моему, все, кто в этом городе сидел за рулем. Специально давали изрядного крюка, что бы проехать мимо и поприветствовать новоиспеченного лейтенанта. Нужно было видеть, с какой важностью он эти приветствия принимал, как гордился своей популярностью, с каким достоинством стоял на перекрестке, на котором прошла большая часть его жизни.

Было бы несправедливо не рассказать об одном из любимейших развлечений минчан, об автомобильных гонках. Это, конечно, была не Формула I, просто кольцевые гонки на серийных

автомобилях. Но страсти кипели там не шуточные. Были и свои герои. Королями были, несомненно,… Ольхимович, Валерий Анкуда и гонщица, которую все звали запросто Маша, работавшая в каком-то из минских таксопарков и потрясавшая своей лихостью любителей автоспорта ни минском кольце. Был на кольце один коварный вираж, на котором вылетали многие приезжие спортсмены. Он производил впечатление безопасного, но содержал какой-то секретный изъян, то ли геодезисты неправильно спланировали угол наклона, то ли еще, что-то, не знаю, только на этом вираже, который был ближе всего к Уручью, машин побилось невиданное количество. И, вот, что еще было забавно, как разъезжалась публика после гонок. Адреналин, накопленный в крови, требовал выхода, каждый считал себя «лютым гонялой», поэтому общий старт, разъезжавшихся по домам зрителей был зрелищем не для слабонервных: вой покрышек, рев моторов, вопли клаксонов – нужно было выскочить вперед, иначе в «толпе» машин приходилось тянуться с черепашьей скоростью до самого Минска. Было мнение, что минское «кольцо» в табели о рангах подобный сооружений в Союзе было, чуть ли не лучшим, на него приезжали и гонщики соцстран: Германии, Польши, Венгрии, но наши ребята, конечно же, были «найкращие». Жаль, что ушла из моего города эта традиция. Ушла незаметно, тихо. Кольцо обветшало, разрушилось, на гоночном небосклоне появились иные герои, настали иные времена. Но все равно благодарен кольцу, здесь делился со мной секретами езды великолепно дерзкий Валера Анкуда, здесь снимал для фильма о Лене Беловой изысканного интеллигента… Ольхимовича. Сюда, непременно приезжал, привыкая к новой машине, погонять ее в экстремальном режиме, наработать водительские рефлексы, которые должны быть именно рефлексами, правильными действиями вне сознания, до сознания. Может быть, по этому за сорок лет водительского стажа не попадал ни разу в аварии, не имел серьезных конфликтов с Гаи. Хотя всяческих «несерьезных» хватало с лихвой. Ну, например, однажды за неимоверное количество дыр в талоне предупреждений, забрали у меня права, и послали на пересдачу. Это уже было время компьютеров. Не было, ушел на пенсию, тот замечательно безжалостный майор, которого восхитила фраза:«… я лучше подожду пока все разъедутся», компьютеры были безжалостней майора, поскольку, как я до нынешнего дня убежден, были настроены таким образом, чтобы никто не мог сдать экзамен с первого раза. Ходить в присутствие и бездарно терять там время не хотелось. Тогда я придумал потрясающий трюк – обратился в обычную «ментовку», попросил у них справку

о том, что я к ним обратился, а обратился для того, чтобы они подтвердили данной справкой (чувствуете изящество стиля!) факт хищения у меня водительского удостоверения. Просто «менты», не гаишники, пожали плечами – охота была разбираться! – и такую справку выдали. С ней катался около года. Нужно было видеть физиономию сержанта на дороге, который вертел эту справку и так, и эдак, пытаясь понять, что за липу я ему подсовываю. Представляете, как скрипели его мозги, пытавшиеся разобраться в нестандартной ситуации. И – отпускали! Более того, в справке этой дырки кололи, за превышение скорости, или за парковку в неположенном месте. Закончилось это издевательство над Гаи в Петербурге, где нарвался на постового, который без долгих выяснений сказал: «Спрячь это «фуфло», куда подалее и больше мне в Питере не попадайся!». Понял, не дурак! Больше ему в Питере не попадался, тем более, что замечательный город, как раз и покидал, да и справка за год употребления, приобрела вид, мягко говоря, мало презентабельный.

Как правило, доказать что либо патрульному на шоссе невозможно – он там царь и бог, и воинский начальник. Но однажды все же удалось. Я въезжал в Минск по старовиленскому тракту. Там сплошь знаки «обгон запрещен». Впереди «телепается» какой то «москвичок». Понуро тянусь за ним, не обгоняя. Гляжу на спидометр – 40 км. Еду. Снова гляжу – 32… Ну, зануда! Дорога свободна, передо мной одиночное транспортное средство, которое движется со скоростью, при которой обгон дозволен. Обгоняю. «Москвичок» просыпается, летит за мной из окошка счастливый «мент» машет жезлом. Рядом подруга, перед которой патрульный решил покрасоваться. Диалог предельно простой,– Знак видели? – Видел!,– Ваши права… Подруга – сама недоступность, кавалер – сплошное высокомерие!

– Документы заберете в Гаи Минского района!

Приезжаю в Гаи Минского района. Объясняю ситуацию. Офицер глядит на меня рассеянно. Спрашивает, как был одет патрульный. Сам про себя недоумеваю, к чему бы это? Офицер просит написать, все как было. Пишу. Назавтра мне возвращают права, говорят: «Сержант, остановивший вас, будет наказан за… нарушение формы одежды». Вот когда понял для чего вопросы о том, как был одет мой обидчик. Фуражки-то на нем не было, на заднем сиденье лежала. Вот и не верь после этого в справедливость закона! Все правильно – то, что откровенно провоцировал нарушение – это ненаказуемо. То, что фуражку при этом снял – нарушение устава, за это извольте рассчитаться.

И смех, и грех!

Была еще одна замечательная встреча с Гаи, но, правда, не в Минске… А, жаль! Есть в Латвии такой город Бауска. Ехали мы с дочкой в Юрмалу. В город я влетел несколько чересчур быстро. Контроль стоял на выезде и бдил. Совершенно роскошный двухметровый патрульный ни на какие мои уловки не покупался. Молча заполнял протокол. Когда пишут протокол – разговаривать бесполезно, возврата не будет. Поняв, что лебезить поздно, смирился и просто так, ради праздного интереса спросил,– Командир, а как переводится Бауска на русский? – Бауска – это, снаете, как Рига на русски не переводится,– с неподражаемым латышским акцентом отвечает постовой. – Жаль,– говорю,– А я дочке рассказывал, что вот город Бауска, здесь все люди добрые, как бабушки… – гляжу, мой латышский супермен замер, не пишет, думает, потом рвет протокол и произносит: «Есшайте, дальше раскасывайте сваи скаски!».

Не поверите – в Латвии больше правил движения не нарушал!

ГЛАВА 29

В том месте, где сейчас находится гостиница «Минск» – был кинотеатр «Первый», а рядом с ним кафе мороженое. Когда мы переехали на Московскую – этот кинотеатр и кафе, были излюбленным местом семейных, воскресных развлечений. Мороженое подавали там в металлических вазочках и это было невероятно шикарно. Но, все же, никакое мороженое не могло «забить» предвкушение от киносеанса.

Первый фильм, который, помню, глядел в «Первом» – «Тарзан». Мама и тетя Клава Посчастева, мать моего школьного друга Вовки, наплевав на дисциплину, забирали нас с уроков в первом классе и, как проказливые школьницы, сбегали с нами в кино. Кино – было неизменным развлечением. Самым чудесным. «Тарзана», вместе с мамами, глядели раз шесть. Раз пять ходил на «Дона Сезара де Базан», причем, один раз ухитрился сбежать из очереди к зубному врачу. Рекорд же был установлен на великолепном фильме Курта Гофмана «Привидения в замке Шпессарт» – этот фильм смотрел раз двенадцать и не надоедало, хотелось глядеть еще, хотя знал каждый кадр наизусть.

«Первый» снесли, но вместо него появились другие кинотеатры: «Центральный», «Победа», «Радуга», «Смена» и др. Школьный день заканчивался, как правило, изучением газет – где, что идет. Если выпадало интересное название, или, кто-то из пацанов, рекомендовал, плотной стайкой ехали к черту на рога, лишь бы попасть на сеанс. Иногда платили за билеты, иногда уговаривали контролера, чаще просто «прорывались». Способов «прорыва» было много, кто-то отвлекал контролера, уводя его за собой, чтобы друзья успели проникнуть в зал, кто-то проскальзывал, пользуясь толчеей при входе, случалось, проникший в зал, открывал дверь, через которую народ выходил после сеанса, и, когда в зале гас свет, через эту дверь «прорывались» толпой. В темном зале найти рассыпавшуюся по свободным местам мелюзгу, было невозможно.

Когда, где-либо в Минске случались съемки, это был «праздник духа» – туда сбегали с уроков и толклись поотдаль, узнавая артистов, наслаждаясь командами режиссера: «Мотор!», «Съемка»! Не хочу сказать, что эта увлеченность кино, оказала влияние на выбор профессии – это было бы и не правдой, и выглядело бы чересчур механистически: мальчик любил кино, поэтому стал кинорежиссером. Нет, выбор кинематографа, как сферы деятельности, был достаточно случаен, хотя – те из сверстников, которые поступали во ВГИК, пользовались в моем

городе огромным пиететом. Валера Рубинчик, например. О нем говорили, затаив дыхание: «Валера приехал!» – и это значило, что сегодня на «броде», или в скверике, где стоял бюст Грицевца, будет тусовка с «небожителем», рассказы о педагогах, нравах самого недоступного вуза СССР.

Поступать во ВГИК даже не пытался, понимал – это не по мне, а, может, просто побаивался. Но, «прорваться» в кинематограф, очень хотелось. Нужно знать юную журналистскую поросль шестидесятых годов,– те из коллег, кому удавалось попасть на работу в кино, считались корифеями, им по-хорошему завидовали. Происходило это от того, что престиж кинематографа был чрезвычайно высок. В те времена редакторами на киностудии работали Кулешов, Лужанин, Губаревич – люди известные, уважаемые, которые определяли политику «Беларусьфильма». Следует добавить, что впечатляло и поступление на высшие сценарные курсы в Москву – Алеся Адамовича, уже доктора наук, Владимира Короткевича, также приобретшего славу поэта и прозаика. Все это поднимало престиж кинематографа на неслыханную высоту.

Я работал в газете «Літаратура і мастацтва» с Ириной Письменной, про которую знал, что муж ее Роман Германович Романов – служит редактором на «Летописи», объединении документальных фильмов «Беларусьфильма». Ира была старше и опытней, писала пьесы, их, случалось, ставили в России. Подкатиться к ней с просьбой, познакомить с мужем было не легко, но, уж очень хотелось попасть в кино. Знакомство состоялось, как-то очень просто – Роман Германович встретил меня в небольшом кабинете, в котором почему-то толкалось и галдело человек десять совершенно разных людей. Проблемы у них тоже были разные и мне непонятные. Романов выслушал мои пропозиции, сказал, что-то вроде: «Это не кинематографично, это уже было до тебя, это вовсе из другой оперы». Я понял, что он хочет интеллигентно отделаться от назойливого неофита, поэтому говорит то, что обычно говорят и пишут старшие товарищи, умудренные жизненным и творческим опытом. Но… Вирус кино уже отравил мне кровь. Я стал ходить к Роману Германовичу на «Беларусьфильм», как на работу и каждый раз притаскивал две-три идеи фильмов. Продолжалось это почти год. Наконец, Романов не выдержал, а может, посчитал, что я получил достаточную подготовку, ошиваясь по студийным коридорам. Короче, предложил написать сценарий заказного, документального кино, того самого, которое называлось «болты в томате», ввиду того, что творчеством там и не пахло, нужно было сделать кино по социальному заказу. Мурыжили мой сценарий,

довольно долго, заставляли переписывать, доделывать, «поворачивать» другим боком. Я искренне верил в необходимость этой работы, правда, замечал, что от переделок сценарий не становился лучше. Понимание того, что мне просто дурят голову, возникло на седьмом или восьмом варианте. К тому времени возникла фигура режиссера, дипломника ВГИКа Вадима Канунова, который согласился снимать фильм по моему сценарию, «по дороге» ненавязчиво дав понять, что он за него возьмется при условии, если я сумму гонорара разделю с ним пополам. Это было первое знакомство с режиссером – фигурой в кинематографе удивительно многообразной, поскольку, как потом выяснилось, все студийные службы работают на него, на режиссера. Он соглашается на сценарий, или отказывается от него, он его кромсает, переделывает, вносит коррективы и свое видение – он главный. От его «хотения» зависит если не все, то очень многое. Компания режиссеров в объединении документальных фильмов была удивительная. Были старики – Бэров, Цеслюк, Вейнерович, пришедшие в кино еще до войны, прошедшие с камерой по фронтам и партизанским отрядам; была молодежь, только что вышедшие из ВГИКа, или проштрафившиеся на других студиях: Владик Ефремов, Владик Попов и другие, мелькнувшие накоротке на беларусьфильмовском небосклоне и исчезшие на бескрайних кинематографических просторах родины. Ребята эти сформировали «золотой век» белорусского документального кино. Появление их на первом этаже («Летопись» располагалась на первом этаже студии) незаметно и тихо «обеспечивал» именно Роман Германович. У него были знакомые повсюду, «водился» он со многими талантливыми ребятами, умел сманить в Минск, обещая полноценную работу. Надо сказать, что обещания – выполнял. Не всегда, правда, его «протеже» были послушны. Ерепенились, да еще, как! Помню, Владик Ефремов сделал фильм о хлебе. Фильм очень интересный. Как говорили, фестивальный! Однако, не во всем идейно выдержанный. Было такое понятие. Фильм не выпускали, Владик резать его отказывался, а это прерогатива режиссера. Никто к пленке кроме него дотронуться не имел права. Оставалось либо уговаривать, либо строить мелкие и крупные пакости, чтобы взять режиссера измором. Минское партийное начальство выбрало второй путь. Ефремов остался без работы, уехал в Питер, зарабатывать на хлеб, но, что бы не быть уволенным в Минске по статье КЗОТ, каждое утро с Питерского самолета появлялся в приемной директора студии, «отмечался» и тем же самолетом улетал в Питер. Не удивляйтесь, друзья мои, в кино случаются вещи и почище, и позабавней – оно

всегда было миром странным, со своими фантастическими историями, парадоксальными поступками, со своей мифологией. Например, до сего дня, из уст в уста передается легенда о том, как Сергей Лукьянчиков, бывший директор «Беларусьфильма», а некогда помреж, то есть мальчик на побегушках, был отправлен в Ленинград на поиски сбежавшего со съемок артиста. Известно было только, что у актера любовница в Питере и номер его машины. Прилетев в Питер, Сережа не придумал ничего лучше, чем обратиться в местное КГБ, и, разжалобив тамошних пинкертонов своей юностью и безысходностью ситуации, попросить их о помощи. Актера «взяли», когда он садился за руль, доставили в управление, где Сережа закусывал пряниками с молоком (пожалели мальчика). На вопрос,– Этот? – Сережа кивнул головой и их вместе с актером, под конвоем доставили в аэропорт. Не знаю, в каком состоянии были штаны у артиста, но, прилетев в Калининград (дело было на съемках фильма «Восточный коридор») он долго вздрагивал и терял дар речи, когда по служебной необходимости Сережа появлялся на площадке.

Когда, исчерпав мелкие пакости, начальство перешло к крупным, пытаясь отсудить у Владика Ефремова квартиру, был свидетелем отношения ко всему этому безобразию, тогдашнего Председателя кинокомитета Владимира Матвеева. По всему было видно, что кино Ефремовское ему нравилось, но силы задействованные в этой истории были выше его юрисдикции; он мог только издали наблюдать за событиями. А я болел за Владика впрямую и откровенно. Ходил на все заседания суда. Поскольку к тому времени уже работал в Госкино БССР, по вечерам Матвеев, вызывал к себе и просил рассказывать обо всех перипетиях процесса. Слушал и удовлетворенно пофыркивал. Владик процесс выиграл, что было само по себе фантастично. Хоть и не долго прослужил я в Госкино, но видал, был свидетелем того, как Председателю комитета, по большому счету Министру, выкручивали руки и наши партийные чиновники и московские киноначальники. Это было и на стадии утверждения сценария Бориса Васильева о Брестской крепости, когда Матвеев, просто ушел, что бы избегнуть разговора с автором, и, особенно, на обсуждении сценария фильма «Иди и смотри», который должен был ставить Элем Климов по сценарию Алеся Адамовича. Обсуждение происходило на студии. Допускались только избранные. Вел заседание Главный редактор Госкино СССР Даль Орлов. Он молча попыхивал трубкой выслушивая восторженные отзывы о сценарии членов сценарной коллегии «Беларусьфильма», приглашенных писателей и ведущих режи-

ссеров. Не мигнул глазом, когда довели до сведения благожелательное отношение к сценарию Первого секретаря белорусского ЦК партии Машерова. Когда, казалось, осталось только поздравить группу и пожелать ей творческих успехов, Орлов встал, и молча покинул аудиторию. Московские специалисты по партизанскому движению в Беларуси, московские радетели нашей культуры, фильм закрыли на долгие годы. Он вышел и стал явлением в советском киноискусстве только с началом перестройки.

Но, опустимся на первый этаж «Беларусьфильма». Когда я уже сделал первые самостоятельные шаги в кино, на студии появились ребята моего возраста, только что окончившие ВГИК Сергей Лукьянчиков, Дима Михлеев, Саша Карпов. Первым свой международный приз получил Димка. За чудесную картину о школьниках, снятую им по сценарию Романа Романова и Иры Письменной «Птица Х» он стал лауреатом кинофестиваля в Иране. Шахиншах удостоил его «Золотого дельфана» и мы три дня пьянствовали, радуясь успеху коллеги, правда, называя его при этом – Лауреатом недоразвитых стран. Горькая ирония заключается в том, что в те времена, фестиваль в Иране, был чрезвычайно престижным и представительным. Призы, полученные на нем, котировались высоко, и, называть Иран недоразвитой страной, можно было только в шутку, подтрунивая над счастливым Лауреатом. Собственно, подтрунивать над Димой, было легко,– он был незлобив и давал не мало поводов для подначек. Одна история с его белыми джинсами, чего стоит! Джинсы тогда в Минске купить было трудно, тем более, белые. Денег у Димы тоже не было. Вот и решил он сшить себе джинсы сам. Выкроил из брезента отменные штаны, а для большего шику, решил отбелить в хлорке. В новых белых штанах Лауреат появился в студийных коридорах – там, они у него и поползли по швам, хлорка съела нитки. Хохоту было море. Хохоту в те годы на студии, вообще, было не занимать! Все были молоды, несомненно, талантливы, жили, как в студенческой общаге. Рядом со студией стоял флигелек, назывался «чудильник». Через «чудильник» прошли все замечательные и знаменитые ныне белорусские кинематографисты. Живали здесь и Виктор Туров, и Виталик Четвериков; Юра Марухин, Эдик Садриев, Шура Чекменев, да и, кто только там не живал… На кухне вечно жарилась картошка с луком, которой мог подкормиться, любой попавший в эту коммуну, иногда в комнатах затевалась бесшабашная и бесконечная карточная игра, иногда, как об этом догадывались – неизвестно, мимо како либо двери ходили на цыпочках, хозяин помещения принимал девушку. Одним словом –

воронья слободка. Среди нас, тогдашних друзей, выделялся Гена Куренной, невероятно красивый, молодой оператор. Он был знаменит тем, что целомудренно сохранял верность своей жене. Делать это было не просто; повторюсь, Гена был удивительно красив,– смуглый с яркими синими глазами он был вечно, чьим ни будь «предметом» для воздыханий. Судьба распорядилась так, что первым из нашей компании ушел именно Гена. Работая на ЦТ, поехал оператором в Югославию, как только там началась война. Там и погиб. Где он похоронен, никто не знает до сих пор. Храню о нем на память трубку, вырезанную в подарок, во время съемок. Классно сделанная, двадцать лет она не прогорает и не теряется.

Сегодня, размышляя о судьбах друзей, вспоминая Минск, конца шестидесятых, примеривая тогдашнюю нашу жизнь, к сегодняшним судьбам белорусского кино и удивляюсь, и недоумеваю, как же так произошло, что прервалась связь поколений. Кто-то был первым, ну, Тарича не помню, это естественно, но помню Корш-Саблина, помню, как нежно он относился к Добролюбову, Четверикову, Турову, Степанову, Дашуку; помню, как вводили в кино молодых Лукьянчикова, Карпова, Михлеева, Шкляревского, Зайцева уже Добролюбов, Четвериков, Туров – а потом, пустота, прорва, никого… Отчего это? Пожалуй, от того, что был на весь Советский Союз один институт, готовивший кинематографистов. Великолепный институт, блестящий, с традициями, со своими легендами, мифами, преданиями – ВГИК. Практически все, работавшие, и работающие ныне в белорусском кино были его выпускниками. Его выпускниками были многие кинематографисты во всех республиках. Какие имена у его мастеров: Эйзенштейн, Довженко, Ромм, какие имена учеников – Чухрай, Тодоровский, Шукшин, Тарковский, Соловьев, – бессмысленно перечислять! Было великое вгиковское братство, корпоративность в лучшем смысле этого слова. Друзья на разных студиях не давали пропасть, потеряться однокашникам. Можно было не любить друг друга, можно было быть творческими антиподами, но при слове ВГИК, по иному начинали гореть глаза, иные слова вылетали из уст. Я это хорошо прочувствовал, поскольку сам там не учился и всю киношную жизнь, нес в душе ощущение некоей своей неполноценности, невсамделишности. Я был не из их когорты, мне были невнятны многие их рассказы, воспоминания. Может поэтому, могу сейчас, трезво оценить и слабости ВГИКа. Как ни странно и силой его и его слабостью была кастовость, приверженность выпускников к «альма матер». Была у выпускников ВГИКа уверенность в том, что ВГИК будет всегда,

что он всегда будет «кузницей кадров», что всегда по осени, как перелетные птицы будут разлетаться по студиям, мигрировать его выученики. Хорошо, если за каждым поступившим во ВГИК был доброжелательный и внимательный «надзор», если его «вели» не только мастера-педагоги, но не забывали и дома, на «Грузия-фильм», «Киргиз-фильм», «Молдова-Фильм» – выпускника ожидали, ему готовили место, его встречали с радостью и с надеждой.

Мне кажется, что интернационализм «Беларусьфильма», в какой-то момент, ставший его сильной стороной, чуть погодя, во времена иные стал его трагедией. Виктор Туров, почувствовав это, попытался набрать курс режиссеров в Белорусской Академии искусств – не получилось, не получилось у Виктора Дашука. Почему? Скорее всего, потому, что в силу «вгиковской» корпоративности эти замечательные мастера, мимо воли к даже к своим ученикам относились не совсем качественно,– чувствовали, это ребята не вгиковского ранжира. Может, не смогли, набирая и воспитывая собственные курсы, передать то, что получили в наследство от своих учителей. Педагогика – высокое искусство. Оно не рождается на чистом месте, оно тоже должно вырасти из саженца, обрести свои традиции, свои мифы, которые будут передаваться из поколения в поколение, образуя то, что называется – ШКОЛА!

ГЛАВА 30

Странно, но в своих заметках о моем городе я обошел стороной такой интереснейший момент его бытия, как исправление здоровья населения вообще и каждого отдельного индивидуума в частности. Можно было бы сказать, что с этой стороной жизнедеятельности Минска мне приходилось сталкиваться довольно редко, и это было бы правдой, поскольку Бог миловал и болеть приходилось не часто, но вот, наконец, состоялось то, что должно было состояться – я «загремел» в больницу с весьма невеселым диагнозом и столкнулся с этой стороной жизни города, что называется «фейсом о тейбл», то-есть – мордой о стол и делать вид, что эта область проходит каким то непонятным образом мимо меня, увы, более не приходится.

Однако, первые мои впечатления о советском здравохранении были вполне безоблачны, и носили некий розово младенческий оттенок. Мама сдавала экзамен по гематологии и «сыпалась» отчаянно. Понимали это все – и преподаватели, и ее подруги. Мне же, которому было всего четыре года, это было “ без разницы” – вокруг крутилось много “теть”, маминых однокурсниц, которые уделяли мне максимум возможного внимания и этим вниманием я был абсолютно удовлетворен. Вот тут, кому-то из будущих светил медицинской науки пришла спасительная мысль заслать меня, в аудиторию, в которой мама никак не могла разобраться в таинствах строения человечьей крови. Помню, дурацкий девичий берет, который на меня напялили и не менее дурацкую фразу, которую научили произнести, ухватив маму за подол белого халата: – «Мама, писать хочу!». Выход мой был сногсшибателен. Мама разыграла растерянность и смущение, я был настойчив и казалось, что исполню продекларированное немедленно, профессор, умиленный и одновременно испуганный, мгновенно проставил в зачетке «уд.» и мы с мамой гематологию благополучно «свалили».

Дальнейшие взаимоотношения с медициной были не столь безоблачны. Мамина карьера после окончания института и двухгодичной ординатуры у очень знаменитого в Минске хирурга прервалась самым трагическим образом.

У нее умер больной, которого она оперировала.

Я не помню деталей, в памяти осталось только то, что парень был «самострелом», то есть он самостоятельно нанес себе огнестрельную рану, дабы не идти в армию, а может по какой иной причине, не помню, но непонятное тогда, слово «самострел» врезалось накрепко. Не знаю, в чем была мамина ошибка, во

всяком случае, наверно была она не из тех, которые допускают плохие или равнодушные врачи. В той истории присутствовало нечто иное, поскольку ни профессионально, ни юридически к маме претензий не было. Но сама она осудила себя очень строго – оставила медицину на пять лет, считая свою вину безусловной, и никогда более не вставала у операционного стола, отказавшись от карьеры действующего хирурга. Только через пятилетие, позволила она себе вернуться в хирургический кабинет 3-ей поликлиники, что была на улице Фабрициуса, в которой и проработала без перерыва почти полвека, пользуя недужных, вправляя вывихи, вскрывая маститы, зашивая раны и обходя с визитами свой участок.

Я не знаю, не встречал врачей, которые судили бы себя, свою ошибку столь строго, но мама в этом отношении была человеком суровым и, однажды принятое ею решение, более никогда у нас в семье не обсуждалось.

Мама терпеть не могла больницы и всякий раз, когда не было крайней необходимости, никто из нас туда не попадал, лечились дома. Правда, болезней особых у нас не наблюдалось, до тех пор, пока у папы не начали сдавать отбитые в лагере и простуженные на фронте почки.

Вот тогда я и понял, что такое домашний доктор. Сейчас, сидя в палате больницы скорой помощи, с горечью думаю о том, что именно этих семейных, постоянно наблюдающих нас, знающих о нашем организме все, или почти все докторов, так не хватало всегда и так, катастрофически не хватает сегодня всем нам и здоровым и болеющим.

Ну, в самом деле, железяку, автомашину, компьютер, телевизор, пылесос мы норовим отдавать в ремонт известному нам, надежному мастеру. Звоним, лебезим, приглашаем, платим,– « Будь добр, посмотри, подкрути, почини…»

В том же, что касается собственного здоровья, собственной Богом данной, единственной жизни, беспечны донельзя, как будто у нас их, жизней, в запасе несколько.

Мамина коллега по 3-ей поликлинике, терапевт Марья Петровна, думаю, не была «звездным» доктором. Обычный, хороший, участковый врач. Но, забегая, по соседству, всегда успевала измерить давление, выслушать жалобы, посоветовать чего-либо из терапевтического арсенала или просто пошутить, сняв напряжение. Когда случалось нечто более сложное, вызванивался доктор Володя Косенко или тетя Наташа Павловец, одна из тех, кто засылал меня на приснопамятный экзамен в мединституте, дама решительная и знающая. Это был домашний консилиум. Постоянный. Три доктора, которые следили за

здоровьем семьи на протяжении десятилетий. Мне могут сказать, эка, сравнил – мать врач, все знакомые – врачи, а каково простому человеку, у которого ни знакомых, ни родственников, а только родимая районная «полуклиника» с неиссякаемыми очередями, с талонами, с направлениями, с докторами, которые должны принять, не говорю вылечить, просто принять за день несколько десятков человек, узнать из бестолковых ответов на что жалуется больной (на живот, на голову, на то, что нешта у сярэдзіне дрынтвее), написать назначение на анализы, выписать больничный, либо отказать в таковом. Я наблюдал за маминой работой, будучи пацаном, я знаю, что такое районная поликлиника. Уверен – в том виде, в котором она сохранилась для нас от социализма, от земства, от сельского фельдшерского пункта, но, правда, без докторов Дымова и Чехова – это анахронизм, тупиковая, бесперспективная, бесплодная ветвь здравоохранения.

Нам все время дурили голову о благе бесплатной медицины. Нас обманывали! Медицина никогда не была бесплатной. Из нашей зарплаты регулярно, ежемесячно, изымали некую часть, эту часть где-то, кто-то делил у нас не спрашивая. Львиная часть – шла на производство танков, что-то на мировую революцию, остальная малость делилась далее по разумению высокого начальства. Сколько перепадало на медицину, на образование, на пенсионное обеспечение и остальной соцкультбыт, на все то, что в нашем самом человечном государстве еще так недавно считалось бесплатным – тайная великая есть.

Но это неправильно! Я хочу считать! Я умею считать! Я не хочу заботу о своем собственном здоровье перепоручать чужому дяде. Я хочу точно знать – сколько я за свою жизнь заработал и сколько из заработанного я могу потратить на себя, на свое благополучие и здоровье. Я хочу о своем здоровье заботиться сам и платить за него сам! Ну, например, я знаю – мой рабочий стаж почти сорок пять лет. Все эти годы я очень неплохо (по совковым нормам) зарабатывал. Прошу обратить внимание, зарабатывал, а не получал. Я производил продукт, который был востребован обществом и поэтому хорошо оплачивался. Из этой, вполне неплохой оплаты, ежемесячно у меня высчитывали некий процент на предмет болезни. Я этим процентом не пользовался, поскольку, Бог миловал, не болел. Мой откладываемый на всякий случай процент должен был расти и тучнеть. Вопрос на засыпку,– куда подевались, откладываемые ежемесячно мои кровные, когда они мне понадобились, когда я заболел? Я таращусь по сторонам, я пытаюсь их разглядеть, пытаюсь определить, что я могу себе позволить за эти всю жизнь откладываемые сбережения. Могу ли

я претендовать на операцию, которую делают в клиниках Израиля? Нет! Могу ли позволить себе лекарство, которое выпускают фармакологи Швейцарии? Нет! Могу ли просто лежать в палате один? Могу! Но за дополнительную оплату. Господа, где мои деньги, которые вы у меня самовольно изымали и божились, что сохраните? Вы их профукали, пустили на ветер, растранжирили, своровали?

Возмущение бесполезно! Государства, которое брало на себя обязательство откладывать и сберегать мои кровные – нет! Правоприемника того государства тоже нет! Спросить не с кого! И вот – бродят по районным поликлиникам, по казенным коридорам больниц толпы неприкаянных стариков в поисках бесплатной медицины. Ищут то ли вчерашний день, то ли снег прошлогодний, то ли здоровье погубленное на стройках коммунизма.

Ребята! Мальчишки, которым сегодня 20, которые начинают свой путь к стариковским немощам – не доверяйте казенным наперсточникам, не ставьте на кон свое здоровье. Оглянитесь по сторонам, поинтересуйтесь, как все это устроено у нормальных людей, вникните в опыт иных стран, тех, где нет социализма, а, следовательно, вселенского общака-надуваловки.

Коллега, который лежит в соседней палате заметил: «А если кто-то зарабатывал меньше, если кому-то нужна помощь!» Согласен отдать половину отложенного мной за сорок пять лет на благотворительные цели, на помощь тому, кому помочь кроме меня некому, но назовите мне эту половину. В конце концов имею право знать!

Господи, чего я ломлюсь в открытую дверь. Во всем мире существует страховая медицина и каждый работающий знает, какое лечение ему по карману, какое нет. Знает и то, что следует следить за собственным здоровьем, как за автомобилем на котором ездишь каждый день. Знает, что дешевле измерить уровень масла в картере и вовремя его заменить, чем запороть движок. Дешевле иметь домашнего доктора, который проверит ваше давление и предупредит об опасности, чем нарываться на пересадку замотанного сердца.

Вот тут уместно вспомнить Марью Петровну, которая забегала посплетничать с мамой, а по ходу, достав ртутный тонометр, контролировала давление у родителей.

Когда Марья Петровна вышла на пенсию, она обратилась ко мне: «Олег, может в твоей фирме уборщица нужна? Возьми меня. Пенсии не хватает!»

– «Милая Марья Петровна! Какая у меня к черту фирма Я работаю сам на себя. Уборщицы мне не по карману…»

Дальше я развивал довольно стройную систему, как Марье Петровне не пропасть с ее нищенской пенсией (тоже, кстати, вопрос, а куда подевались ее ежемесячно складываемые в государственный карман, пенсионные взносы?)

Я объяснял Марье Петровне, что она наследница земских врачей, настоящий домашний доктор, что она на своем участке знает всех и вся, знает у кого, что болит и кому чем можно помочь. Я втолковывал ей, что во всем мире врач, доктор, человек самой высокооплачиваемой профессии, грешно ей, при ее квалификации и знаниях наниматься в уборщицы. Она согласно кивала головой, потом разбила мои аргументы вдребезги простейшей фразой…

– Аличек, как же я с людей деньги брать буду?

Штукатур знает как, автослесарь знает, сантехник знает! Доктор – не знает. В этом месте следовало бы остановиться и порассуждать о незаменимых героях с незамутненной душой и светлыми помыслами, но я рассвирепел, я наорал на бедную Марью Петровну, я обвинил ее в том, что она просто не уважает свою профессию, ценит свой труд дешевле дешевого. Потом успокоился, попросил прощения за резкость, поскольку понял, Марья Петровна ни в чем не виновата. Она искренне верит, что брать деньги с больного – стыдно, она верит в бесплатную медицину, ее не переделаешь и нападать на нее бессмысленно.

Однажды, когда мы с режиссером Игорем Гасско снимали документальный фильм о наездниках конно-спортивной школы в Ратомке произошла трагедия. Мальчик, выполняя простейшее упражнение, допустил ошибку, лошадь встала на дыбы и опрокинулась на круп, накрыв мальчишку всем своим весом. Как то случилось, что рядом кроме Игоря, меня, нашего оператора и фельдшера местного медпункта, никого не оказалось. То ли это была последняя в тот день тренировка и все разъехались, то ли еще какая то нелепость – не помню. У фельдшерицы была истерика переходящая в перманентный обморок, у бедного Игоря, перенесшего две операции на сердце, посинели губы, но он из последних сил делал мальчику массаж сердца. Я,сменяя его, в перерывах звонил в «Скорую». Я пробивался в Минск, меня из Минска отправляли в Молодечно, объясняя, что это их зона. Я орал, что здесь необходим квалифицированный нейрохирург, меня спрашивали о моем образовании и вновь отправляли в Молодечно. Плюнув на «Скорую» я дозвонился до приемной Министра здравохранения. Тогда им был Савченко. С «разбега», я наорал на министра, я требовал нейрохирурга, понимая, что у мальчишки сломано основание черепа. Министр очень спокойно сказал: «Перезвоните мне через три минуты!» Через три минуты

проинформировал: « К вам выехал нейрохирург профессор Павловец.» Это была сестра тети Наташи, Марья Васильевна. Осмотрев мальчика она беспомощно прошептала: «Не довезем!»

Дорогие мои читатели! Простите меня, что дурю вам голову, «жонглируя» ничего не значащими понятиями: «бесплатная» и «платная» медицина. Потому что медицина всегда платная – это и связь, и транспорт, и диагностическая аппаратура, это экспресс – анализы, операционное оборудование, квалифицированные кадры, современные медикаменты, это доктора, которые следят за вашим здоровьем постоянно, а не от случая к случаю. Это система. Любая система – стоит дорого, так что вопрос стоит ставить только таким образом – «богатая» медицина или «нищая». У нас она нищая. И стоит спросить: «Почему? Почему в больнице скорой помощи люди лежат в коридорах на незастланных простынями кроватях, почему на анализы водят через раздолбанные вонючие подвалы, почему процесс обследования растягивается на три, четыре, пять дней, почему врачи там замороченные и раздраженные, почему, советуя какие приобретать лекарства, они говорят: « Постарайтесь не покупать наших и «брынцаловских». Почему…

Да все потому же, что нам досталась в наследство от Советской власти, от великого и могучего Советского Союза бесчеловечная система здравоохранения, при которой замечательный домашний доктор, вместо того, чтобы лечить людей, нанимается работать уборщицей, диспетчер скорой помощи, опасаясь нарушить инструкцию, вынуждает вас отнимать время у Министра, профессор – нейрохирург, вместо того, что бы спасать жизнь, чуть не плача шепчет: « Не довезем!» поскольку знает, как и чем оборудована его специальная реанимационная машина.

Во всем цивилизованном мире отработаны разные способы здравоохранения, лечения, реабилитации, восстановления здоровья и главное – профилактики, предупреждения заболеваний. Их много, их называют по-разному, но служат они одному – не бросать человека в беде, дать ему шанс и если не вылечить окончательно, то хотя бы поддержать на неком приемлемом уровне. Это обеспечивается взносами, которые люди откладывают осознанно в надежные частные и государственные фонды. Эта система поддерживается налоговой политикой государства, она регламентирована трудовым законодательством между нанимателем и работником, ее детали оговорены в коллективных профсоюзных договорах. В нашей стране ничего этого нет. В нашей стране заболеть – не приведи Господи. Потому как все вокруг «колхозное», все вокруг наше…

Но, господа, слово здоровье, слово жизнь, с наречием «наше» не монтируется! Нельзя сказать наше здоровье или наша жизнь. Здоровье и жизнь могут быть только твоими или моими и заботиться о них мы должны, прежде всего, сами. Поэтому сижу в своей палате в блоке «Б» и размышляю – из острого состояния меня вывели, спасибо докторам, а дальше что? Дальше как? Дальше ждет меня «наше» здравоохранение, за которое я, вроде бы, честно платил сорок пять лет, но которое мне, вроде бы, ничего не должно. Страшно, господа!

ГЛАВА 31

Я провожал кого-то из знакомых на поезд. Поезд ушел около часа ночи. В одиночестве, по подземному переходу брел я на выход, к привокзальной площади. Шел, задумавшись, не обращая внимания на редких в этот час спутников и встречных, торопившихся по каким-то своим надобностям.

Неожиданно дорогу мне заступил парень лет тридцати – ладно скроенный и крепко сшитый. Заступил агрессивно, не позволяя обойти себя ни справа, ни слева. Вообще-то он не производил впечатления праздношатающегося хулигана, в его повадке было нечто деловое, осмысленное. Но и на грабителя не был похож – место не то, да и время неподходящее, переход все таки был достаточно наполнен народом и для банального «гоп-стопа» момент был выбран не удачно. Внимательно всмотревшись в лицо, оценив взгляд, направленный в сторону, избегающий прямого, глаза в глаза контакта, понял – скорее всего «мент». От догадки не стало спокойней – встреча с милиционером в штатском, ночью, да еще на подпитии – от парня тянуло алкоголем – как правило, может обернуться крупными неприятностями. Кто знает, что может втемяшиться ему в башку, привыкшую к безнаказанности и круговой поруке коллег.

Словно подтверждая мою догадку, парень потребовал предъявить документы. Момент предельно опасный – предъявлять не рекомендуется, сунет в карман, и ты в его власти; не предъявлять, послать подальше – тоже опасно, привяжется, позовет своих, они может только того и ждут где либо невдалеке, далее – отделение, обезьянник, протокол и так далее, и тому подобное… В этой ситуации лучше всего начать беседу. Что я и сделал…

– Друг мой, с какой стати, стал бы я показывать тебе документы. Ты в штатском, скорее всего не при исполнении… Давай так – вначале ты мне свою «ксиву», что бы я знал – имею дело с представителем власти, потом я тебе паспорт, или, что там у меня найдется в кармане..

Парень сверкнул у меня перед глазами чем-то в алой обложке.

– Нет, дорогой, не так… В развернутом виде, пожалуйста…

В развернутом виде его удостоверение свидетельствовало, что передо мной курсант школы милиции. Это, меняло положение – можно было переходить в наступление.

– Дружок,– сказал я ему, вполне благожелательно,– курсантское удостоверение спрячь от греха подалее и никому

больше не показывай, твое начальство, в случае чего тебя же крепко не поймет. Если есть ко мне есть вопросы, давай… Вот здесь, недалеко отделение, но, право не знаю, стоит ли тебе туда соваться, приняв на душу – амбре от тебя…

Продолжение истории было и смешным и забавным. Парень, сбавив обороты, сказал вполне мирно…

– Ладно!.. Я тебя и так знаю… Ты ведешь передачу на восьмом канале… Просто поговорить захотелось…

История о неразделенной любви, о больной девушке, которая умирает, но его видеть все таки не хочет, о том, как душа разрывается и не находит успокоения, о том, что никто не может его понять и не с кем разделить неизбывное горе, что третьи сутки уже не спит и водка не берет – была выдержана в лучших традициях сентиментального жанра. Допускаю, что в ней некая крупица правды присутствовала, остальное было придумано и расцвечено собственной фантазией, которая заставляет жалеть себя, любимого, прежде всего. Тем не менее, я внимательно, не перебивая, его выслушал, что-то у парня, чувствовалось, болело, а способ выражения – ну, что тут поделаешь, как умеет, так и поет…

Когда исповедь иссякла, и мы помолчали, и молча перекурили – спросил: – Ну, и зачем ты на меня «наезжал», если сразу узнал, и поговорить захотел?.. Причем здесь,– Предъявите документы!– и все такое прочее?..

Парень растерялся и как-то очень искренне ответил:

– Черт его знает! Просто так – уже не могу! Привык «по-ментовски» на арапа брать!..

И не стоили бы история эта рассказа, и забыть бы ее можно было, как курьез, если бы не одно, настораживающее обстоятельство – люди в моем городе почему-то теряют издавна присущую им способность разговаривать друг с другом, как со старыми знакомыми, как с приятелями, как с соседями, земляками – доброжелательно, заинтересованно, с чувством искренней взаиморасположенности, с желанием прийти на помощь, с лукавством, которым обладают добрые сограждане, родившиеся и выросшие на одной улице, в одном местечке, если и не знакомые, то, непременно, слыхавшие друг о друге.

Все чаще ловлю себя на впечатлении – собеседники и деловые, и случайные – настороженны, недоверчивы, злобливы, агрессивны. Готовы огрызаться и отстаивать свое, никем не подвергаемое сомнению право на собственное мнение, собственные поступки. Куда подевалась знаменитая минская разговорчивость, толерантность, которые,– всегда и выгодно, отличали наш город от других.

В Москве заговорить на улице и не нарваться на грубость или на равнодушную поспешливость, можно было только если повезет встретить старого, исконного москвича. В Литве, рассчитывать на вежливость «аборигена» приходилось, не поскупившись на вежливость собственную, сказав встречному «лаба дьена» – что не так уж и сложно, в конце концов. В Тбилиси, обращаясь к встречному, следовало добавить «батоно» и сообщить, что ты здесь с семьей – это автоматически переводило тебя в разряд людей, имеющих право на уважительное отношение. Минск в этом смысле, был, пожалуй, самым демократичным и самым доброжелательным. При этом его жители не были шумными и самодостаточными, как, например, в Одессе, где простой вопрос, как пройти, на «Привоз», тут же собирал толпу спорящего народа, который вскоре забывал и о вас, и о вашей просьбе, занявшись разрешением неких собственных проблем. Нет! Минчанин всегда был ненавязчив, доброжелателен и, по возможности, точен. В этом отношении он был очень похож – на истинного петербуржца, который однажды преподал мне урок, ответив: «Извините. У меня, пожалуйста, не спрашивайте. Я очень пьян и могу ошибиться, отправив вас не в том направлении». Честное слово не придумал. Все так и было. И фразу эту запомнил почти дословно.

То, что в моем городе, что-то неуловимо изменилось, понимаю вот по каким признакам. Например, мой лечащий врач в больнице скорой помощи, очаровательная, несомненно, умная и очень знающая женщина, которая на много лет младше меня, на мое обращение: «Радость моя, милый доктор!», которое, согласен, может и не очень удачное, однако, мне, как старому ловеласу, близкое, (ну, не мог я обратиться к доктору иначе и, даже, был чрезвычайно горд, тем, что смог выговорить такую сложную фразу) – ответила, как обрезала,– Я вам не «радость ваша», и вы мне не «милый».

Наверно в ее сознании моя «фривольность» была несовместима со строгими понятиями о взаимоотношениях между «больным» и «доктором». Допускаю, даже, что она абсолютно правильно «поставила меня на место». Все – так! Но, только мне, как-то сразу стало скучно и не празднично, я понял, что дела у меня не совсем хороши, что я просто объект ее профессиональной деятельности – не более, что у доктора полно больных, все для нее равны, она не может себе позволить радоваться за кого-то, расслабляться и, вообще, ее человечности на всех не хватит. Контакт был утерян, доверительность утрачена!

Мне возразят: «Капризы, брат, капризы…»,– наверно так, наверно и в самом деле капризы, но, кто сказал, что больной не может покапризничать, не может рассчитывать на некое, пусть

даже мнимое, пусть профессионально отработанное, но так ему необходимое индивидуальное участие.

Сын моего приятеля переводчика, который сделал огромную, фантастическую работу, помогал отцу воплотить ее в жизнь, и на мое искреннее предложение о помощи, о содействии в меру моих сил и понимания, согласившись для видимости, долго уходил от телефонного контакта, просил перезвонить то завтра, то через неделю… Я на свой страх и риск сделал порядочный кусок, того о чем мы с ним договаривались, провел много, как мне казалось, полезных и нужных встреч, однако мои хлопоты пропали втуне, остались не востребованными. Я недоумевал, обижался, пока не понял – моя искренность и простота были восприняты подозрительно: «Чего хочет? На кого работает?». Допустить, что наивность «не есть признак глупости или подлости, а только чистоты души» – было для молодого парня сложно. Легче было искать вражеские происки и оберегаться от них.

Однажды очень умный и очень старый человек сказал: «Запомните, Олег! Самые серьезные, самые важные, самые ответственные дела нужно делать весело, играючи – тогда все получится! – подумал и добавил,– Даже умирать!».

Вначале показалось,– Блажит, старик! Со временем понял – ничего подобного! Как только насупишь брови, как только вспомнишь о значимости предстоящего дела, об ответственности, которую оно на тебя налагает, о мнении народа, о неумолимости времени, о том, а что в данном случае подумает «княгиня Марья Алексевна» и все присные ее: пиши – пропало! – ничего у тебя не получится, или получится, какая ни будь такая несусветная чушь и гадость, что самому станет противно до омерзения.

Жизнь всегда многоцветна, она полифонична, она сплетена из черных и золотых нитей. Горькое меняет сладкое, сладкое скрашивается кисленьким, человек, истомленный постоянным благоуханием роз, радуется запаху навоза в родной деревне, устав от непрерывного напряжения дисциплинированного разума, необходимо подурачиться и повыпендриваться свободно и раскованно. И в этой многоголосице огромное значение имеет умение общаться, разговаривать, шутить, умение слышать и понимать других.

Сейчас, вспоминая годы минувшие, убеждаюсь – то, что начиналось, как авантюра, как хохма, как нечто необязательное, невероятное, бредовое, неосуществимое никогда и не при каких обстоятельствах, – как ни странно, состоялось, получилось, живет. То, что планировалось, просчитывалось, готовилось – или захирело, зачахло, или существует само на себя не похожее. Припомните события собственной жизни – уверен, найдете там не

мало подобных примеров.

Играючись, щедро рассыпал бриллианты стихотворных созвучий, немыслимых рифм, изящнейших аллитераций, шутил, мистифицировал, насмешничал блестящий Рыгор Бородулин..

Язвил, издевался, иронизировал над сущим и над собой – Наум Кислик, черпая в этой иронии и самоиронии свои поэтические откровения. Потрясающий рассказчик упоительный и мудрый придумщик, фантазер Валентин Тарас создал кроме стихов и «серьезной» прозы россыпь блестящих устных рассказов. Вспоминая их – понимаю, за неповторимым юмором, никем лучше автора не зафиксированный отпечаток эпохи.

А живые, передаваемые из уст в уста, ставшие городским фольклором истории из жизни Кости Сороки, Антона Белевича, Виктора Тарасова, Наума Штутина, Стефании Станюты… Люди все разные – маститые и не успевшие стать таковыми, они, тем не менее, и наши современники, и наши земляки – минчане – оставили нам в наследство великое умение беседовать, рассказывать, потешаться над глупостью и, между делом, творить невероятно изящные и замысловатые вещи.

Да, Господи! Сколько фильмов – документальных и анимационных родилось на моей памяти и при моем участии из веселого, на первый взгляд, ни к чему не обязывающего трепа.

«С людями нужно разговаривать!» – эту шутейную формулу вывел сам для себя очень давно, но скоро понял, она вовсе не шутейная. С людьми и в самом деле нужно разговаривать и вовсе не для того, чтобы, что-то вызнать, или, что-то поведать о себе. Любой разговор, с любым человеком заставляет мыслить, ценить нестандартные аргументы, учит слушать и воспринимать позицию оппонента. Только в разговоре, беседе, диалоге, в обмене репликами возникает остроумие, рождаются шутки, начинается творчество, а с ними – доброжелательность, взаиморасположение, приятельство.

Знаменитый российский собиратель и исследователь фольклора, Василий Афанасьев, отмечая отличительные особенности белорусского устного народного творчества, говорил, что ни у одного народа нет такого количества легкомысленных, скабрезных, фривольных побасенок, сказок, анекдотов. О чем это свидетельствует? Люди любили и не опасались разговаривать, подначивать друг друга, вышучивать, подъелдыкивать, дурачить.

Не боялись Господа Бога, ибо на равных существовали здесь православный, католический, протестантский, униатский клир. Здесь мирно уживались боги иудеев, пророки мусульман, да и языческий ареопаг нет-нет, но давал о себе знать.

Не боялись панов – каждый третий на этой земле сам был, или считался паном.

Судейских тоже не очень боялись – законы были устоявшиеся, менялись редко и не очень походили на дышло в крестьянской запряжке, про которое известно – «куда повернул, туда и вышло».

Королей и Великих князей тоже боялись не очень, поскольку даже эти высшие государственные должности на Беларуси были не наследственные, а выборные. Совершенно замечательно подметил традицию «вольноговорения», а следовательно и вольномыслия, присущего местному населению классик нашей драматургии Виталь Вольский, описав в «Нестерке» блестящие «научные» диспуты и, введя в ткань пьесы остроумнейшие диалоги с судейскими.

Не припомню, чтобы, когда-либо, даже готовясь к самым жестким уличным схваткам, нельзя было остановить их, договорившись «по справедливости», либо «снять напряжение» удачной, к месту пришедшейся хохмой. Даже возвращаясь глубокой ночью, домой по чужой, незнакомой территории не приходилось опасаться, вынырнувших из-за угла агрессивных стаек местных пацанов – почти всегда находились либо общие знакомые, либо общие интересы.

Тем удивительнее и непонятнее появившаяся в последние годы тенденция недоверчивости и подозрительности, некоего расслоения на своих и чужих, не верных и неверных. Стоило мне начать публикацию этих заметок в «Советской Беларуси», как некоторые старые приятели перестали здороваться.

– Друзья мои, у вас есть претензии по тексту? Нет! Тогда давайте припомним времена, когда вся наша пресса была партийной и только один незабвенный учитель наш Марк Соломонович Зерницкий, читавший всем нам «Партийно-советскую печать» удивлялся из года в год задаваемому вопросу: «Марк Соломонович! Непонятно… Журнал мод, к какой прессе относится к партийной или советской?» – и совершенно искренне пояснял,– Вы знаете – это очень интересно… Вот уже пятнадцать лет все студенты меня об этом спрашивают!..

Не забыли?! Может вспомните по какому критерию оценивалась и «классная журналистская работа»? Во все времена высоко ценились профессионализм «звездюков» Вали Тараса и Жоры Коласа, «лимовцев» – Бориса Бурьяна и Мони Замского, за год «сельскую газету» сделал лучшим изданием Беларуси – Владимир Матвеев, а «знаменка» вообще была вне конкуренции – поскольку являлась постоянной кузницей кадров, оттуда родом, как из детства, все нынешние главные и те, которые «чесныя» и те, что «нячэсныя».

Так, что же мы должны переоценивать свою жизнь из-за того, что нечто поменялось в ее нынешнем политическом раскладе? Хорошо однажды пошутил Виталий Четвериков, один из самых резких и непримиримых кинорежиссеров. Он сказал, «приветствуя» нового директора «Беларусьфильма»:

– Директора приходят и уходят, но право быть вынесенными с этой студии ногами вперед остается только за нами!..

Как в воду смотрел Виталий, сколько бы не пыжились начальники, сколько бы ни проводили партийную политику, какие бы указы не издавали – в памяти останутся не их имена, но имена «минских ребят»: Вити Турова, Витальки Четверикова, Коли Калинина, Бори Степанова, Юры Марухина – все остальное, шелуха, которая уносится ветром времен.

Ну, и последнюю байку о моем городе, о его традициях, научающих разговаривать с «людями» сободно и раскованно, даже в самых печальных обстоятельствах, о несомненной пользе подобных разговоров для здоровья не могу не поведать.

Моим «сокамерником», соседом по палате в больнице, оказался «старый» минчук Сережа Ворс. Старым я назвал его не из-за количества прожитых лет, с этим у него, как раз все в порядке, хотя мне до сих пор не понятно, что делал в инсультной палате соракасемилетний молодой мужик. Старым минчуком он был для меня поскольку, как выяснилось, еще прадед его торговал салом на Суражском рынке, где поддерживали семейную традицию Сережи и дед, и отец… Недаром про династию «сальников» Ворсов ходила побасенка: «Сало ем, сало пью, в сало боты мачаю!».

Когда меня вкатили к нему в палату, Сережа, указал мне мой койку и радостно сообщил: «Вот твое влагалище!»,– имея ввиду,– «лежбище», «ложе». Хохотали мы с ним над его оговоркой до икоты, оценив непроизвольное изящество хохмы. (Постинсультные проблемы с неадекватным произношением слов, вещь обыкновенная). «Пришпиленные» к капельницам мы учились говорить, покатываясь со смеху, от ошибок друг друга. Между нами мгновенно установилось взаимопонимание «ребят», выросших на соседних улицах, имеющих общий жизненный опыт, если хотите – родство душ. Когда Сергею было трудно подобрать слова – я уговаривал,– Сережа! Не лезь в гору! Давай с разбегу и в обход!..

Он тоже не оставался в долгу, так, подсмеиваясь, друг над другом, поддерживая друг друга, помогая один одному боролись с хворобой. Сережа выписался первым. «Хохмотерапия» явно пошла ему на пользу. Я за него искренне рад. Я не интересовался, чем он занимается, мне было неинтересно. Вернее мне было не до

этого. Без разницы мой социальный статус был и для него. Мы вновь почувствовали себя минскими пацанами, выросшими он на Иверской, я на Московской, нам было хорошо вместе, мы помогали друг другу.

Так что: «Радость моя! Мой милый доктор!» – С «людями», все таки, нужно разговаривать…

ГЛАВА 32

Человек животное стадное. Поселите его в одиночку, кормежку устройте на высшем уровне, все прихоти исполните, кроме одной, кроме общения. Все дайте – только компанию исключите, через некоторое время – заметите, «крыша поехала», одиночество катастрофически сказалось на человеческой психике. Человеку, чтобы быть (вот именно, быть, а не жить. Жить можно и, как трава при дороге – функционировать – есть да гадить) нужно общаться. Обратите внимание, все человеческое бытие построено так, что его окружают близкие люди. Родился – рядом папа с мамой, кормят, купают, играют. Подрос, вышел на улицу – детки, сверстники – либо, за своего, держат, либо – обижают. Подрастаешь, проблемы усложняются, нужно научиться искать и занимать свое место среди людей, либо приспосабливаться, либо толкаться локтями. Дальше, больше – школа, институт, армия, профессиональная деятельность, село, город, страна, общество, человечество. Но страна, общество, человечество – вещи умозрительные, достаточно абстрактные, человек же все время ищет тех, с кем ему хорошо, комфортно, интересно. Это могут быть и похожие на него, с одинаковыми интересами люди, или наоборот – непохожие совершенно, как говорится, «на контрапункте». Так ищут себе жену, друзей, соратников, единомышленников, врагов… Ну, да, и врагов тоже. Не зря же говорят – хороший, умный враг – «полирует кровь», заставляет жить наполненной, емкой жизнью. А никчемный враг, как и никчемный друг, подчеркивают только твою собственную никчемность.

Город, как будто специально придуман для того, чтобы выстраивать среди людей «системы общностей». Коли мы, горожане, значит – жители одного города, земляки, ребята из одного района – комаровки, грушевки, сельхозпоселка, одной школы, одного двора, одной спортивной секции, одного факультета, одного студенческого общества, одной профессии – целая грибница, подземных, незаметных, корпоративных связей. В разные времена, то одна линия главенствует, потом уходит на задний план, другая проявляется, третья – оживает: чем больше таких связей, чем они богаче – тем разнообразнее внутренний мир человека, тем сложнее его привязки к жизни.

Иногда случаются счастливые стечения обстоятельств, которые, как бы отбрасывают отсвет на целый сонм человеческих судеб увязывая, упаковывая их в неожиданную и странную общность, ну, например, как лет тридцать назад Минский клуб

творческой молодежи. Был он организован при ЦК комсомола, вначале, может, просто «для галочки», чтобы очертить перед старшим товарищем – партией, охват интеллигентной молодежи, которая, если не принимать во внимание некий процент, осознанно стремящихся к партийной карьере, в основном, после всяких оттепелей, полуоттепелей и полуоткровений, после растрескивания идеологического монолита, идеи строительства светлого будущего воспринимала с известным скепсисом и мучительно искала неких иных ценностей в жизни, которые оправдали бы ее существование в этом месте и в это время, привнесли бы в жизнь некий смысл и очертили хоть какую ни будь перспективу.

Было бы неправильно сказать, что ребята, сверстники из ЦК комсомола, были людьми холодными, прагматичными и «выстраивали» политику с далеко идущими провокационными планами. Пожалуй, это было совсем не так, или, точнее – не совсем так. Конечно, тогдашние функционеры комсомола были и циничней и прагматичней «общей массы», и пример им было с кого брать, и равняться было на кого, но, тем не менее, человеческую сущность, азарт, озорство, юношеское – я все могу! – пересилить, снивелировать, истребить было и в них совсем не просто.

У истоков этого движения стояли две очаровательные девушки: Нина Маченко и Нина Полуян. Очень странно распорядилась судьба их жизненными устремлениями – сидели две девчушки в одной комнатке на четвертом этаже здания ЦК, одинаково трепетали пред замзавами, завами отделов, перед третьими, вторыми, не говоря уж о первых секретарях ЦК, тем не менее, находили как-то общий язык и с нами, молодыми тогда, литераторами, художниками, композиторами, актерами, ухитрялись быть своими и с теми и с этими, а с годами жизнь повела их по расходящимся дорожкам и развела довольно далеко, хотя, если отбросить все наслоения, отмели, плесы которые нанесла река жизни, то остались они теми же очаровательными минскими девчонками, какими, в сущности, и были в пору нашего знакомства. Во всяком случае, для меня. О других говорить не берусь.

Задуман клуб был как место для неформальных встреч и дискуссий. Между прочим, всяческие дискуссии и обсуждения были среди тогдашних идеологических работников в большом почете. Их, правда, следовало готовить и не пускать на самотек, но все-таки, за всем уследить было невозможно, кроме того, иногда и самих «смотрящих» захлестывал юношеский азарт. Первым испеченным нами «блином» было приглашение на

встречу, с обсуждением естественно самой свежей работы, известного кинорежиссера Сергея Параджанова. Этот вечер с Параджановым мог быть первым и последним заседанием клуба, поскольку мэтр, не утруждал себя общепринятой фразеологией, не пытался запудрить никому мозги, не пользовался, доведенным в те годы, до совершенства эзоповым языком полунамеков, а резал «правду матку» в открытую, насмехался над «неприкасаемыми» самыми первыми из первых секретарей партийных организаций, выставлял их дураками, потешался, ерничал. О себе же говорил только в превосходных степенях, называя гениальным, талантливым, провидцем и т.д., что, сами понимаете, по тем временам, показной скромности, украшенной при этом ежегодными «Звездами Героев» не могло восприниматься иначе как эпатаж.

Короче говоря, утром, после «пира духа и свободы», мы проснулись с головной болью и с ощущением, что все рухнуло – нас непременно закроют. Но, обошлось, как-то! Могу ошибиться, но, кажется, за все бесшабашное наше и, в общем-то, непредвиденное фроднерство, рассчитался своей партийной карьерой только Володя Халип, который по большому счету и так в ЦКовских коридорах долго бы не проходил, не тех кровей, был паренек. Обеих Ниночек, равно, как и третьих, вторых и, может быть, даже первых секретарей ЦК за недосмотр и утерю бдительности, отчего-то пощадили… Подозреваю, от того, что Сергей Иосифович Параджанов не имел ни жизненного, ни творческого опыта общения с Петром Мироновичем Машеровым и поиздеваться над ним оснований не имел, за то сам Петр Миронович, которому ранним утром, если не ночью, доставили пленку с записью выступления маститого кинорежиссера, как человек, несомненно, артистический смог оценить блестящие параджановские эскапады по поводу своих коллег главных начальников Армении, Украины и Грузии. Может, это узнавание и природное чувство юмора, присущее Машерову, и выручило нас от «вселенского разгрома». Как ни странно, партийные начальники всегда благоволили к сатирикам, узнавая в их издевках, иных героев, но только не себя.

Заседания клуба стали ежемесячными, традиционными. Мы приглашали архитекторов, философов, физиков, поэтов… Это была хорошая школа, тренинг мысли, распахнутое окно, сквозь которое прорывался сквозняк «любомудрия» в нашу, в общем-то затхлую, провинциальную атмосферу. Вечера заседаний клуба никогда не проходили без толп желающих поприсутствовать. Происходило это все в не очень роскошном зале Дома актера, на горочке, под башенками, приткнувшегося к боку Дома офицеров.

Поскольку в силу некоей общественной должности от меня часто зависело, кого можно было допустить на эти заседания, кого нет, могу сказать – это было самое сложное. Кому-то отказать, кого-то не пропустить, кого-то оставить за дверью… Шли на всяческие ухищрения, ставили стулья в проходах, устраивались по двое в кресле, стояли на лестницах, проводили трансляцию в вестибюль… Пожарники теряли дар речи от немыслимых нарушений, но, как-то все обходилось, старались никого не обижать «недопусканием». Популярность у клуба была колоссальной. Приходили и юные и маститые, уже знаменитые и те, кто только на взлете, те, кто «при должностях» и те, кто только к ним «примерялся». Непременной составной частью вечера была дискуссия – открытая, веселая, без оглядки на авторитеты. Выдержать ее было не легко, как правило, спуску не давали ни кому, каждому хотелось «повыпендриваться», себя продемонстрировать, но проходило все это, повторюсь – весело и беззлобно, может потому, что все чувствовали себя вровень, из одной «общности». Еще одной составной и тоже непременной частью были складчины после дискуссии. Трудно, правда, сказать, что было, после чего – складчина после дискуссии, или дискуссия постепенно перетекающая в складчину. Арендовались, загодя, столики в местном кафе под названием «мутное вока», набивалось туда народу видимо-невидимо, заказывалось «фирменное» – жареный зеленый горошек, который стоил копейки и много сухого вина. Тогда пользовалось популярностью либо «Эрети», либо «Гурджаани» по рупь ноль две за бутылку и дискуссии в этой незамысловатой упаковке продолжались до утра. Благо вся обслуга в кафе была знакома, безобразий мы не устраивали, «шумство» было вполне легальным и не вызывало ни у кого идеосинкразии…

Так прокатился год. Прокатился, вполне незаметно и замечательно. Кому пришла в голову идея продолжить ежемесячные сборы клуба ежегодным семинаром не припомню, скорее всего, тем же двум Нинам, которые и взвалили на себя, как сейчас понимаю, тяжелую работу по организации всего этого мероприятия. Вначале по Минску, потом по всей республике, собирались «до кучи» все мало-мальски известные «юные гении», которых, за деньги ЦК комсомола, после летних вакаций вывозили в сентябре в какой либо из уже опустевших пионерских лагерей на пару упоительно вольных недель. Нужно отдать должное – места для семинаров выбирались в самых живописных местах Беларуси и за право их проведения «у себя» случались нешуточные столкновения между провинциальными комсомольскими боссами. Происходило это от того, что

присутствовать на семинарах любило высшее комсомольское начальство. Но, это «высшее начальство», как ни странно, подчинялось законам творческой вольницы. Не стану называть фамилий, чтобы не шокировать нынешнюю публику, но многие из тех, кто сегодня при очень высоких должностях играли в наши игры на семинарах по нашим правилам и с удовольствием, и с азартом. Например, был такой ритуал – посвящение в рыцари семинаров. В темную комнату, затаскивался с повязкой на глазах под визг и улюлюканье, не взирая на должности и звания, потенциальный «рыцарь». Ставился на колени, перед большим бидоном с вином, которое зачерпывалось одолженным на кухне «разводящим» черпаком. Выхлебать вино следовало единым духом, закусить, чем бог послал и, почему-то, занюхать неизвестно где добытым нюхательным табаком. После чего торжественно снималась повязка с глаз и под общее гоготанье и увесистое похлопыванье по спине и плечам в «корпорацию» принимался новый полноправный член. Еще одной неистребимой традицией был выпуск «настенгазет». Называлось это именно так, потому, что газеты развешивались на всех свободных стенах. От пола до потолка. Благо, художники, да какие! просто толпились, чтобы принять участие в этом потрясающем действе. Карикатуры, шаржи, комиксы на «злобу дня», готовились тут же, тут же обсуждались, снабжались эпиграммами, которые придумывали тоже не «абы кто» и к вечеру публиковались для общего обозрения. Газета обновлялась ежедневно, пропустить или «сдвоить» номер, считалось зазорным. Зазорным почиталось и обижаться на «дружеские» подначки в газетах. Помнится однажды, кто-то из начальства не знакомого с традициями, выразил неудовольствие вольным с собой обращением. Это стало предметом ежедневных насмешек в газете, обросло немыслимыми, придуманными подробностями, вокруг родилась целая «литература», были посвящены «эпические» графические полотна… Короче «фанаберистый» начальник через три дня вынужден был съехать. При этом никакие робкие попытки «защитить» обиженного во внимание не принимались. Более того «заступников» предупредили,– Не дразните гусей, не пытайтесь рушить обычаи, может статься, что для «обиженного», от жэтого получится еще обидней.

Секретаря ЦК, парня длинного, тощего, но с хорошим чувством юмора, в силу забавности фигуры и должности официального ведущего, «трепали» в каждом номере газеты… Он хладнокровно, на провокационные вопросы, как ему нравится тот либо иной шарж, отвечал,– Столь пристальное внимание к моей особе – несомненный признак популярности!– чем, в конце

концов, и в самом деле, добился этой самой популярности – и от него отстали.

Если бы я сейчас, просто наобум назвал кого либо из ныне знаменитых, маститых, народных и заслуженных – уверен, в той либо иной степени он оказался бы приобщенным к тем, тридцатилетней давности молодежным семинарам. Если сегодня могу запросто в моем городе общаться на любом уровне, с любыми «творческими начальниками» (и около творческими тоже) то только благодаря тому давнему участию в вольной корпорации свободных «мастеров». При этом не стоит думать, что все основывалось на зубоскальстве и винопитии. Нет! Семинары эти отличались основательностью и лекционной и дискуссионной программы. За честь выступить на них почитали самые известные ученые и творческие работники не только Беларуси, но и всего СССР. Они приезжали в какое либо оршанское или мядельское захолустье из стольных градов, докладывали свои самые замысловатые изыскания, подвергались безжалостному юношескому остракизму. Отбивались, отшучивались, пили вино, флиртовали, и уезжали – помолодевшими, глотнувшими воздуха юности с какой-то блуждающей усмешкой на лице, словно омытые молодой, веселой кипенью.

Так было!.. При этом традиционно и постоянно участники семинаров всегда выступали для местной публики. Выступать, между прочим было кому, и вовсе не с «попсой» и не под «фанеру» Помню в нетопленом сельском клубе, на немыслимо раздолбанном клубном пианино, блестящий органист, уже обретавший всемирную славу, Олег Янченко – полтора часа для местных теток и дядек, играл собственные вариации на темы фуг Баха – и в зале была потрясающая тишина. Не та, тишина, когда из вежливости, или под знаком приказа, ее, такую тишину, всегда слышно, а настоящая, когда понимаешь, люди слушают, люди ошеломлены, люди благодарны… Эту тишину, следовало послушать. Усдыхав, понять – это на всю жизнь! Хотя, через полчаса, тот же Олег, сверкая своими потрясающими цыганскими очами, запросто позволял, уже в нашем семинарском помещении, выносить себя на руках, под объявление: «Смертельный номер! На каждую пятку – по Натке!» и, валяя дурака, в горизонтальном положении, под общий хохот зала от того, что при каждой олеговой пятке, в самом деле, находилось по одной Натке – одной известной ныне поэтесе и одной актрисе, исполнял, ни много ни мало, свою, только что написанную, вполне серьезную оперу, по мотивам Блоковского «Балаганчика».

Гаерничали, шутили, веселились и, как ни странно, в этом веселье формировалась некая общность душ и помыслов, которая

осталась на всю жизнь и, которая помогла пронести незамутненное юношеское ощущение полноты существования и радости творчества.

Все таки было, что-то хорошее и в «застойные» времена. Есть. за что сказать спасибо и «ЦК комсомола»! А, может, все дело в том, что молоды были, жизнь расстилалась перед нами необозримая и радостная и это, веселыми красками наших душ, расцвечены в нашей памяти, те, в общем-то, унылые времена!..

ГЛАВА 33

Добрался я в своих записках о моем городе до вполне взрослой жизни.

…Вдруг, утром выпал первый снежок, заглянуло по над снегом в окошко румяное утрешнее солнышко, запричитала в соседней комнате дочка,– Папа, папа… Снег выпал! – и захолонуло в сердце, так захотелось оказаться на ее месте и закричать моему отцу,– Папа, посмотри, снег выпал!.. – натянуть на себя детскую теплую аммуницию, сунуть ноги в валени, выскочить на улицу и захлебнуться сухим морозным воздухом, с запахом, неповторимым, непередаваемым запахом первого снега, с тем самым запахом, который помню всю жизнь и, которого, пожалуй, после детства больше никогда не ощущал так ярко, так обжигающе радостно. И зажмуриться от солнца, и выдохнуть клубом морозный пар изо рта, и подумать,– Ну, теперь скоро Новый год!

Позвольте дорогие мои, читатели, забыть на минутку о хронологии, о том, что записи мои докатились вполне благополучно до дней, когда хвори и болезни напоминают о том, что все в мире имеет свой конец, о том, что давным давно нет папы и мамы, не к кому прибежать спросонья со своими ночными, детскими страхами, некого оповестить радостно о выпавшем первом снеге, предвестнике Нового года.

О том, что Новый год не за горами, оповещал приезд папиного доюродного брата дяди Коли Щербакова. Как-то так получалось, что появлялся он в нашем доме за неделю, или около этого, до праздника, огромный, румяный, шумный в ватных штанах и телогрейке, пропитанных невероятно вкусным запахом соляра,– был дядя Коля шофером, как теперь принято называть, дальнобойщиком, и так подгадывал свои рейсы, чтобы к празднику оказаться в Минске и доставить нам срубленную им в ночном лесу елку. Мелочиться дядя Коля не любил, елку привозил всегда огромную, которая не помещалась в нашей квартире с высокими потолками, сталинке, поэтому приходилось заиндивевшее дерево подпиливать, подрезать, оструживать комель, под размер крестовины, от чего дом наполнялся ароматом леса, дхвои, мороза и праздника.

Елку ставаили в углу, в комнате, в которой у папы была мастерская. Украшали всей семьей, но до этого пару вечеров вместе с мамой делали игрушки. Нынче все больше норовят прикупить елочные украшения в ларьках да киосках. В те времена, о которых вспоминаю, ни киосков, ни ларьков, ни

магазинов, в которых продавали бы елочные игрушки не было. Была заветная коробка, в которой лежали немецкие (трофеи наших войск!), стеклянные висюльки. Некоторые и до сих пор хранятся в таких же точно, как тогда, коробках, частью у меня, частью у сестры, но на елку – они уже не гожи, просто лежат, как раритет, как память. Тогда полста лет назад они были неслыханной роскошью. Откуда появились в доме, честное слово не знаю, может были куплены в специальных магазинах, в которых после войны продавали трофейные вещи бывшим фронтовикам. То, что такие магазины были, помню, но продавали ли там игрушки для елок…

В основном, игрушки делали сами. Вырезали из бмаги гирлянды и, как-то хитро соединяли их. Красили разведенным в воде американским оранжевым стрептоцидом ватные морковки, этим же стрептоцидом, раскрашивали щеки и шубы у дедов морозов, которых ухитрялась мастерить из медицинской ваты мама. Из той же заветной коробки с игрушками доставали сохраненную от прошлогодних елочных конфет фольгу, аккуратно разглаженную и сложенную в стопочки. В фольгу заворачивали грецкие орехи, мандарины, райские яблочки, которые были и так хороши, тверденькие, красные, с кислинкой, но высшим шиком считалось укутать их в золотую фольгу.

Украшая елку, старались мы с сестрой, самое вкусное, повесить с тыльной стороны, с того краю, который упирался в соединение двух стен, образующих угол комнаты. В этом была наша хитрость, поскольку, именно туда, в угол заползали мы с сестричкой, скрываясь от родителей, там было наше местечко, в котором валялись на разостланных вытных одеялах укрытые, лежащими почти на полу мохнатыми ветвями – эдакая секретная от взрослых норка. Естественно, в этой норке, на расстоянии вытянутой руки развешивались все самые лучшие новогодние лакомства. Сюда же была проведена яркая, стосвечовая лампочка, размалеванная в разные цвета, акварелью или гуашью, при свете которой так уютно было рассматривать и читать, подаренные к Новому году замечательные книжки с картинками.

На этом месте я прерву свои воспоминания о прекрасном детском празднике, который всегда был и надеюсь всегда будет самым лучшим и самым радостным и у детей наших, и у детей наших детей… Правда, с грустью, а, впрочем, почему с грустью, чего грустить о бедности,– думаю не станут они переводить дорогой американский антибиотик на краску для носов дедушек морозов, не будут вырезать из рифленой скрипучей цветной бумаги, елочные гирлянды, не станут уворачивать в прошлогоднюю фольгу от конфет грецкие орехи не будут хранить

десятилетиями елочные игрушки… Все у них будет не так, как у нас – праздничнее, новее, вкуснее… Только, ведь, и в том, как это было у нас была своя неповторимая прелесть!

Прервусь же вот по какому поводу. Некоторое время назад написала мне письмо читательница. Зовут ее Татьяна Майстренко. Поразило меня то, что жизнь наша с ней проходила по параллельным направлениям: улицы, дома, школы – все было похоже. В конце же своего письма она сказала,– Как жаль, что никто уже не ходит на минские катки, как жаль, что исчезла эта прекрасная зимняя традиция, чудесное детское развлечение. Я посетовал вместе с ней и она ответила, прислала чудесное письмо, в котором ее воспоминания, ее, девчачье, видение того, что было в нашем городе и, почему-то, исчезло. Меня так поразило и, признаюсь, умилило письмо этой девочки из моей юности, что я решил познакомить вас с ним, ничего в нем не меняя. Кто знает, не внесет ли это в мою книгу дополнительный штрих, не станет ли она нашей общей книгой, книгой общей памяти минчан послевоенного поколения. Итак: «Зимние школьные каникулы вспоминаются, как сплошной праздник…. Не забыть вставить письмо Майстренко…Пойду ли я туда с внуком, когда он подрастет? Сомневаюсь».

Увы, должен с прискорбием согласиться с Татьяной Майстренко. С моей старшей дочкой – Любой, мы часто ездили на каток в парке Горького, еженедельно по выходным, с утра вбирались на лыжах в тоже парк Горького, или в Ратомку, Зеленое. В парке всегда было много лыжников, родители с детьми, устав, многие любили зайти в детское кафе, в котором летали попугаи, ползали ежики, в котором можно было покормить ребенка вполне приемлемыми по вкусу и по цене блюдами. Мы очень любили эти зимние вылазки. Помню, электрички под завязку набитые лыжниками. Кто-то ехал кататься на «гладких» по косогорам вокруг Зеленого, кто-то, имея горные, доезжал до Бояр, где в глубоком овраге были пробиты слаломные спуски, работал самодельный подъемник. Сейчас паломничества лыжников не наблюдаю. Не гудит голосами Лысая гора, не наливают чай в профилактории и пионерском лагере железнодорожников, где зимой, по выходным, всегда работал «кормопункт» и, куда всегда можно было заехать, погреться, попить чайку. Не встречаю лыжников и в парке Горького, не пробегают они по лыжне в парке Челюскинцев. Исчезла и традиция организации катков в Минске. Никто не готовит лед на Центральной площади, забыли, как это делается. На «Динамо», на котором базар, затеянный, как временный, давно превратился в постоянный, не звенят коники. Не звенят они и в парках, и во

дворах – в моем городе вырастает поколение детей, не умеющих стоять на лыжах, не знающих, что такое коньки. Согласен с Татьяной Майстренко – для всех желающих места в ледовых дворцах не хватит, устраиваемые раз в год «выволочки» городского начальства на лыжню в Раубичах, не привьют ему, начальству, любви к конькам и лыжам, которая была у нас, которой мы болели, которую сохранили до седых волос. Вот о чем я и хотел поговорить с Вами, дорогие мои земляки, сегодня, когда до Нового года, до, некогда неведомого нам Рождества, осталось всего ничего. Когда, кого дети, а кого уж и внуки будят восторженными воплями,– Посмотрите! Во всем городе снег!…

ГЛАВА 34

Иногда ночью, либо под утро, когда посещают особенно бритвенно-острые мысли, шарахнет по мозгам: «Да, полно задаваться! Мой, город! Мой, город! Никакой он тебе не твой, ибо где-то в его сером зазеркалье живет и бдит недреманным оком некий Смок, который и является настоящим хозяином этого города». Смок – стар, но око у него молодое, резкое, он ничего не пропускает мимо своего внимания, все фиксирует, реагирует мгновенно и остро,– От сих, до сих – тебе позволено, резвись, а от сих – не моги! Тут уж не твои пенаты, тут моя воля!..

Стоит дать волю этим мыслям, как понимаешь – этот Смок родом из стародревних преданий, он был всегда, изменялся, менял окраску, было у него то две головы, то восемь, то шесть лап, то четыре, он умел либо огнем полыхать, сжигая все живое и здоровое, либо фосгену подпускал, что бы все вокруг казался непорушенным, однако и живым не являлось. Люди мы, конечно, серьезные в сказки не верим, однако стоит только, допустить существование этой фантастической пачвары – многое в собственном сознании становится на места, многое в собственных поступках видится по иному и, что удивительно, многое в поступках иных людей, тоже воспринимаешь иначе. Начнешь раздумывать, начнешь проводить розыск в этом зазеркалье – понимаешь, никакого зазеркалья не существует это больное сознание поколения, искривленное, изуродованное, но существующее не вне, а внутри каждого из нас. Вот и выходи Покати-горошком на Калинов-мост, вот и вступай в битву с самим собой.

Пусть простит меня Лена Данейко за заимствование из ее интервью с Леонидом Градовым: «Задумывалась двухъярусная Площадь Времени, по которой можно проследить развитие архитектуры Беларуси, начиная с первых ее шагов до сегодняшнего дня с учетом национального колорита. По периметру площади строилась композиция из реставрируемых зданий, представляющих историческую ценность. Все три года, пока было остановлено строительство, я выполнял функцию не только главного архитектора проекта, но и сторожа. Охраняли каждый камень, из которого планировалось вымостить площадь. Хотели выложить ее булыжником, лежавшим в те далекие времена. Собирали все в буквальном смысле по кирпичикам». Пусть простит меня Леонид, человек, который с полным правом мог бы сказать про Минск – «Это мой город!», но хочу спросить,– Леня, а что помешало, почему не осуществлено?– То, что было

сделано, а это нулевой цикл, на который истрачено до $ 500 тыс., просто засыпали землей…

Буду настойчив,– Кто приказал засыпать, почему отменили, отчего известный каждому минчанину район Переспы, тот самый, где стояли старые минские мельницы, потом бисквитная фабрика, превращен в нечто круглое лысое и невыразительное? Знаю, господин Григорьев, который в свое время был главным архитектором Минска, а нынче, оттуда из Москвы (куда уехал, будучи по рождению и по менталитету москвичем) пытается навязывать нам свое видение и понимание архитектурного лица нашего города, именно сюда на Переспу «посадил» памятник А.С. Пушкину, автором которого является. Господин Григорьев прекрасно знает наш город. В свое время он был активным противником застройки Троицкого предместья и Верхнего города, называя все, что там находится «нужниками» и, предлагая снести «все старье». Только не нужно спекулировать на имени Пушкина. Александр Сергеевич, к Минску никакого отношения не имеет, равно, как и к Беларуси, кроме одного,– как-то посетовал, что мало вешали белорусских инсургентов, вешали бы побольше, поменьше бы их служило у Наполеона. Но, бог с ним, история нашей земли такова, что разобраться в ней без пол-литры и в самом деле сложно. Дело, в другом – элегантный фат, господин Григорьев, приехавший в Минск на выучку и на ловлю «счастья и чинов», чины поймал, но, будучи уже гражданином другого государства, считает позволительным для себя, диктовать свою волю, выбирая место для собственного творения и, уничтожая при этом, старинную минскую застройку, один нулевой цикл которой стоил пол миллиона долларов. Согласитесь, без вмешательства Смока из зазеркалья, в этом случае не обошлось.

Или вот такой пример… Писал я как-то о порушенной и уничтоженной Немиге. Дело прошлое, история не знает сослагательных наклонений, однако из того же серого зазеркалья пришел факс. Просто, знаете, не письмо, а факс с разъяснением, что господин Белоусов, чересчур много себе позволяет, и не мешало бы ему объяснить… приструнить его. Факс был без обратного адреса, но с подписью. Подписал его архитектор, господин Сардаров, который счел необходимым, проинформировать, что господин Чантурия, которого я поминал в своей заметке, доктор архитектуры и теоретик реконструкции минского центра, никакого отношения к уничтожению Немиги не имел. Согласен с господином Сардаровым – приказов доктор Чантурия не отдавал, но главным научным специалистом, консультантом и советников у начальников, которые приказы отдавали, являлся не один десяток лет. И именно его теория о

необходимости проведения транспортных дублеров главной минской магистрали и решила судьбу уникальной улицы – Немиги. Факс господина Сардарова в защиту господина Чантурия, был из офиса того самого Смока, в котором давно и основательно отработана система «сдержек», тех, кто не верит, что ничего на этой земле ни исторического, ни культурного не было, следовательно и хранить нечего и беречь не стоит. Я никак не мог понять, почему никто из минских стариков не помнит здания Казанского храма, что стоял на площади Мясникова, равно, как не впомнят и о шестиэтажном, пожалуй, самом крупном в довоенном Минске здании – отеле «Европа», который стоял на месте нынешнего кинотеатра «Победа», как не помнят о блестящем довоенном архитекторе Лаврове, который построил в Минске общественно значимых зданий ничуть не меньше, чем знаменитый Лангбард и, которые рушили и перестраивали уже на моей памяти. Среди них – университетский городок, мединститут, комплекс зданий первой клинической больницы.

Кто-то скажет, зачем хранить старье – сломать и построить заново! Таким отвечу,– Ломать не строить! Облик города может меняться, но меняться он должен медленно, не коверкая менталитет людей, живущих в нем. Тогда не будет случаться, как с замечательным белорусским живописцем Маем Данцигом, который вырос в доме, что стоял, возле Казанского собора. Мальчиком сидел он на широченном подоконнике, разглядывая проезжавших по Немиге балаголов, впитывая их неповторимую речь, их манеры, их «строи» и, который, до сего дня недоумевает – кому помешал его родной дом, почему, вот этот, который стоял рядом, так и стоит, а его дом снесли. Кто– то, убежден, для мальчика Данцига существование его дома было абсолютно безразличным, что, приехав из эвакуации, он не обрадовался сохраненному старому минскому дому, в котором (ну, надо же!) висел на стене, там, где его забыли, стремительно покидая родовое гнездо, рисунок отца, сделанный еще в дореволюционной студии. Вот эти оборванные человеческие нити – они тоже из офиса Смока. Триста лет он разрывал кружева этих нитей, Смок понимал, что из маленького Мая не вырастет народный художник Беларуси Май Вульфович Данциг, если в его сердце не останутся крики балаголов, их ломовые платформы, стародавняя улица Немига. Понимал, что я не смогу назвать этот город своим если всю жизнь не буду помнить торговавшего керосином в самом начале Немиги, старого Львовича, с его чудными медными, мерными черпаки, не буду вспоминать послевоенные минские кабачки, в которых на пустых бочках расставляли стаканы и инвалиды фронтовики и приехавшие из эвакуации беженцы. В

Минске была традиция этих кабачков, в которые наши матери, чего стесняться! было, иной раз посылали, нас, подшиванцев,– Пойди, забери отца, хватит ему там вождаться…

В этих кабачках к пиву и водке подавались и раки, и рыба-фиш, и жареный гусь. Порвали связи – и сегодня днем с огнем не сыскать, того, что называется национальной кухней. Все стандартизировано, все унифицировано, на всем стоит печать из офиса Смока.

Печать стоит и на воспоминаниях… Сколько раз ловил себя на том, пишу, и чувствую, не так и не то… Было иначе, помню… А внутренний цензор настаивает, загибаешь, брат, про это именно так, а иначе – никак нельзя…

Как-то сказал, что недоумеваю, откуда взялся миф о тотальном разрушении Минска во время войны? И ведь всего только недоумение высказал, дескать, немцы, при захвате сопротивления не встретили, наши, отбивая город, тоже на его улицах боев не вели, как из зазеркалья раздалось,– Не моги! Не смей! Минск был полностью в руинах, и не мешало бы тебе самому выйти на всенародный субботник по расчистке этих самых руин. Официальный миф о полностью разрушенном городе, даже опровергать, особенно не пришлось. Просто позвонил, тому, кто встретил войну в Минске, все помнит, ничего не забыл и спросил,– Валя, расскажи, как это было в Минске, откуда взялся миф о тотальном его разрушении?

И замечательный писатель, партизан Валентин Тарас, «заводясь» с полуоборота сказал…

– Вот именно, миф!.. 24 июня прилетело 57 «юнкерсов» и около часа бомбили центр города, где сгорели многие деревянные строения, но… все каменные дома остались. Больше немецких бомбежек в Минске не было… Было правда несколько советских, но бомбили наши, точечно, в основном товарную, где однажды «всыпали» по пересыльному лагерю советских военопленных.

Интересуясь историей войны, знаю, что для того, чтобы дотла вбомбить в землю Дрезден американским «летающим крепостям» потребовалось несколько недель беспрерывных бомбардировок. Однако «летающая крепость» по бомбовой мощи не сравнима с пикировщиком «ю-87». Иной пример – чтобы подавить варшавское восстание, и при этом нанести страшные разрушения Старому Мясту, немцам пришлось «долбать» по городу не только авиацией, теми же самыми «юнкерсами», но и артиллерией не прерываясь, почти месяц.

Одним словом миф не выдерживает никакой критики. Однако он откуда-то взялся и просуществовал почти семь

десятков лет. И все – минчане и не минчане, помнившие войну и не помнившие ее, согласно кивали головами подтверждая,– Да! был разрушен… До основания…

Чем это объяснить, кроме, как наведением коллективного морока, кроме общественной амнезии, я, пожалуй, подозреваю, но в данном случае, частность укладывается в общую теорию о Смоке, поэтому именно эту частность оставлю любезному читателю на десерт, а сейчас перейду к не менее живучему мифу о всенародных субботниках по восстановлению Минска. Вновь даю слово точнейшему свидетелю Валентину Тарасу…

– О каких субботниках ты говоришь!.. Если тебе кто-то компостирует мозги, сообщи товарищам, что субботников за год было всего два, причем очень немногочисленных, поскольку 3 июля 1944 года, в день освобождения, в Минске было всего 12 тысяч населения, люди оставили город, опасаясь вначале уличных боев, потом репрессий и возвращались в него медленно и неохотно…

– Хорошо!.. Кто же тогда построил то, что в Минске построено?..

– Минск восстанавливали и частично перестраивали немецкие военнопленные…

Вот! Связался узелок памяти! Помню длинные толпы идущих на работу немецких пленных, ободранных, тощих… Помню игрушки, которые они делали, и, которые мне дарили. Игрушки эти хранились у меня достаточно долго. Помню, разговоры отца о качестве немецкого строительства. Если уж, стряхнул с себя морок, коллективной амнезии – все! никто меня с «точки» не собьет… Перестраивали Минск – немецкие военнопленные. Их было очень много, они работали несколько лет и выстроили заново практически весь проспект Сталина, все деревянное, что сгорело 24 июня. Немецкие военнопленные работали, учитывая традиционное немецкое умение работать, на парадных объектах, главных зданиях, главных магистралей. Минский тракторный и Минский автозавод, вместе с поселками для будущих машиностроителей – возводили зэки… Руководить зеками и военнопленными прибыли в Минск начальники всяческих «лагов» из России. Им были безразличны кружева наших человеческих связей с городом. Они очень легко впитали точку зрения Российского, еще императорских времен рождения Смока: «Ничего на этой земле заслуживающего сохранения и культурного окучивания, никогда не произрастало! Поэтому, ломай под корень и строй, наново!

Теперь попытаюсь предположить, что стало конкретной причиной послевоенного пробуждения Смока на нашей земле, в

моем городе. Существует предание… О то, что это предание, пишу потому, что ни в одной писаной истории подтверждения этому факту не нашел. Но, что-то помню, где-то читал… Может, кто либо, кто тоже читал, но не придал значения или истолковал как либо иначе, откликнется и подскажет… Так вот, читал, что по дороге на Потсдамскую конференцию, или наоборот возвращаясь оттуда Иосиф Виссарионович вышел размять ноги на минском вокзале и, кто-то из тогдашних минских начальников, выколачивая, как это всегда при советской власти было принято, фонды на рабсилу, стройматериалы и т.д., и т.п. – указывая на коробки сгоревших домов в начале Кирова и Ленинградской, пожаловался на тотальные разрушения и попросил под эти не существующие тотальные разрушения – фонды «с запасом». Обратите внимание, именно эти дома на Кирова и Ленинградской, стоят, как и стояли до войны. Зато две привокзальные башни, чтобы на всякий случай закрыть перспективу и подтвердить законность получения фондов немцы-военнопленные построили. Сталин вовсе не был вислоухим и, скорее всего, знал, что разрушений послевоенных в Минске никак не больше тридцати процентов. Однако, выделил и военнопленных и зеков и специалистов полной мерой, твердо зная, что под выделенные фонды, всяческие специалисты в погонах, носом землю будут рыть и если, что останется не освоенным, то взорвут целое, на его месте постоят новое – но сталинский дебет с кредитом сведут.

Когда-то, в те времена, когда КГБ распродавало бывшие секреты, держал в руках карту лагерей немецких военнопленных, расположенных вокруг Минска и карту немецких же кладбищ. Видимо, круто «ломили» в цене за этот «секрет», поэтому не купил. А, зря! Сегодня бы эта карта мне ой, как пригодилась, поскольку предвижу рык из логова Смока,– Какова наглость! Триста лет стою на «стреме» – такого не бывало, чтобы усомниться в чистоте и непорочности моих мифов. Ничего не могу поделать – усомнился! Но, чтобы не возодновлять пустых споров – предлагаю вот какой выход, давайте забудем про разные идеологические забобоны и сообща организуем музей Минска, в котором соберем не мифы, а достоверные факты: Что? Где? Когда? Сколько? – тогда, может быть, поменьше будет спекулянтов, пытающихся заработать на трагедии Малого и Большого Тростянца, тогда, кому ни будь придет, наконец, в голову, а отчего это, как ни копнет экскаватор в районе Чыгуночной улицы и Чыгуночного переулка, так все кости человеческие обнаруживаются. Может, вспомнит, кто-то, да еще и мемориальную доску здесь установит, дескать, на это самом

месте, был огромный пересыльный лагерь советских военнопленных и это их косточки неучтенные, равно, как и немецкие столь же неучтенные, прут из нашей земельки. А, когда, учтем мы эти косточки, когда наведем порядок в этой скорбной бухгалтерии, может тогда и логово Смока обнаружим, разберемся в его генеалогии, тянущейся еще из времен третьего раздела Речи Посполитой и, как сказочный белорусский Покати-горошек, с Божьей помощью, положим ему предел, дабы не портил нам жизнь своими дурацкими мифами…

ГЛАВА 35

Когда-то в моем городе жили черные истуканы. Правда, их было не много – всего два, но отсвет черноты на город они отбрасывали не слабый… История сложилась таким образом, что один истукан сильно проштрафился и те, кто продолжал жить по истуканьим законам, велели бывшего главного истукана зацепить танковыми тросами за шею и сволочь с пьедестала. Что и было исполнено одной морозной ночью. Истукан стоял крепко, танкам пришлось потрудиться, как следует. В городе живет миф, что как раз в эту ночь, возвращался с охоты скульптор, создавший главный памятник города. Он, якобы, вышел из машины, постоял в дозволенном отдалении и молча поехал дальше. Об этой ночи со знакомым мне автором я никогда не разговаривал, не потому, что душевную рану не хотел бередить, просто к слову не приходилось.

Остался в городе один черный истукан. Во времена перестройки активно дискутировался вопрос о том, а не зацепить ли и его танковыми тросами за шею… Однако, то ли танки пожалели, то ли решили, что именно этот свидетель черной «навалы» представляет художественный интерес, одним словом, решили: «Пусть себе, стоит!». Может, и правильно решили, мало ли, в самом деле, всех и всяческих кровопийц понаставлено в мире в виде памятников, как напоминание о великих страданиях народов в великие эпохи. И, кроме того, всегда проще бороться с символами, чем с явлениями. Из собственной-то души черного истукана танковыми тросами, увы!– не выволочешь.

Однако, в те времена, когда прототипы, которым впоследствии предстояло стать черными памятниками, были еще живы и, что называется, функционировали, кому-то из них пришла в голову идея «монументальной пропаганды». Что это такое никто точно себе не представлял, поскольку реализация ее, начатая с абсолютно некрофильской затеи ставить памятники еще живущим и здравствующим, ни в какие, ни христианские, ни культурологические ворота не умещалась. Однако, как часто случалось в те времена, догма была превыше здравого смысла и, коль, никто пресловутой «монументальной пропаганды» не отменял, следовало подумать, кто и каким образом в моем городе должен был быть увековечен, простите за тавтологию, на века.

Однако, город мой ухитрился обойти надолбы «монументальной» пропаганды и кроме никому не понятной, смешной и жалкой фигуры «всесоюзного старосты», иных политических чужеземцев на своей территории не «прописал».

Как-то так получилось, что в результате долгих обсуждений, специальных заседаний, многих конкурсов, было принято, пожалуй, оптимальное решение и в Минске появились памятники Купале, Коласу и Богдановичу. Все эти памятники были выстраданы. О них можно говорить долго, можно оценивать с точки зрения пластики, с градообразующей точки зрения, но, стоит ли? Они состоялись, вошли в плоть и кровь города, в его нервную систему, с ними связаны немалые традиции, бронзовые Купала, Колас и Богданович работы соответственно Аникейчика, Азгура, Вакара – стали вечными гражданами Минска. И, став минчанами, они привнесли в город свое поэтическое видение и мышление. Рядом с ними для черных истуканов не осталось места. Не осталось места и для пресловутой «монументальной пропаганды». Поэты «потребовали» присутствия рядом с собой поэтической образности и, поэтому, рядом с памятником Купале возникла композиция фонтана «Папараць кветка», а по аллеям Купаловского сквера абсолютно органично разместились элементы парковой скульптуры, завязав весь этот уголок города в некий по купаловски фрондирующий и монументальности, и пропаганде, и казенной морали – очень человеческий, очень праздничный, поэтический узелок. Эта же поэтическая идея продолжилась в фонтане, сработанном Анатолием Аникейчиком возле гостиницы «Минск». Бронза обнаженных тел, вода и свисающие ивовые ветви, продолжали сокращать в городе территорию занятую идеологической пропагандой и расширять зону влияния поэтического видения, поэтического присутствия.

Если представить себе город не как комбинацию каменных объемов, асфальтовых магистралей, спальных районов, промышленных предприятий, правительственных зданий, а как живой организм, со своей историей, жизнью, который болел и выздоравливал, страдал и радовался, прихорашивался и принаряжался, то, продолжая аналогию, можно, пожалуй, порассуждать и о том, как он, город, отстаивал свое право на поэтическое, незамутненное видение мира, как читал по ночам стихи, как сочинял их, вдыхая весенние запахи черемухи, как очищал себя от всяческой идеологической скверны, как не принимал в свой мир фантомы истуканов и истуканчиков, как весело пировал среди близких и родных людей, знакомых друг с другом с детства, помнящим одни и те же песни, умеющим перескочить через костер в купаловскую ночь, понимающих таинство пущенных по водным струям венков с горящими свечами. Я говорю о кристаллизации, единении духа города и его обитателей, поскольку тех, кто проникся его поэтическим строем уже нельзя называть просто жителями, они становятся частью

целого, вплетают свою судьбу в общую судьбу города – они становятся местичами, насельниками, людьми живущими совместно с каменными объемами, асфальтовыми магистралями, спальными районами, промышленными предприятиями, правительственными зданиями, которые и сами, как ни странно, перехватывают от человеческой составляющей города ее раскованность, благожелательность, умение влюбляться и флиртовать, готовность к дружеской «беседе» и запечатлевают эти качества в новых архитектурных проявлениях своей поэтической жизни.

Есть города банкиры. Есть – города бизнесмены. Есть города – ученые. Есть – работяги. Есть города, специально придуманные для поэтов и художников. Есть города, которые кичатся своей известностью, своей славой, а есть – самодостаточные; города, которым комфортно и легко самим с собой, города, которые знают о себе нечто, что для других является секретом, тайной за семью печатями. Я всегда удивлялся тому, что наши художники, наши артисты, наши писатели, уезжая в другие города и страны, не теряются там, не пропадают, а находят свое место, занимают нишу, словно специально для них приготовленную, вливаются в иную культуру, занимая в ней заметное, иногда определяющее место. Это говорит о пластичности, приспособляемости культуры, которую они перенесли с собой, это свидетельствует и о том, что творческое начало, которое впиталось в них от рождения через микрокосм города – не пропадает, а пересаженное на иную, иногда чрезвычайно экзотическую почву дает пышные, иногда не менее экзотические соцветия и плоды. Если бы, кто-либо пристально занялся изучением истории российского востоковедения – областью науки явно экзотической, то был бы поражен обилием в этой области белорусских имен, причем имен, именно определяющих. Если не углубляться в давние века, а поглядеть на минскую эмиграцию в мировую культуру за последние десятилетия, то можно отметить, что из нашего города в мировую культуру «вписывались» не олигархи, не наглые толстосумы, не носители сомнительных моральных принципов, а все более люди с хорошо устроенной головой, умеющие мыслить, умеющие создавать неожиданные и парадоксальные вещи, как в науке, так и в искусстве.

Как ни странно именно плацдарм культуры, неприятие огромных, несоразмерных человеку строений и сооружений привело к появлению в моем городе памятников, скульптурных сооружений, которые не несут на себе отметок величия, величавости, предпочтительности кого-то над кем-то, или чего-то над чем-то, отметок избранности, мессианства…

Янка Купала, идет по земле, Якуб Колас сидит на завалинке, Максим Богданович, в задумчивости стоит на старозаветной брусчатке, жертвы минского гетто, спускаются в братскую могилу, словно по ступеням Дантова ада, но, даже в этом нет аффектации столь, казалось бы, присущей трагичности события.

И уж совсем, как веселые «финтифлюшки» смотрятся устроенные по проспекту Машерова филигранные композиции «Белорусские праздники» работы Шуры Шатерника и Лени Давиденко. Для них тоже не понадобилось пьедесталов, они живут вровень с нами, на нашем, человеческом «этаже», поэтому не давят, но и не возносят.

В немецком Бремене, кроме скульптурной композиции «Бременские музыканты», потешной бронзовой пирамиды из знаменитых литературных героев, восхитила сделанная в давние времена свинья, никакого отношения к знаменитым музыкантам не имеющая, установленная в начале улицы, по которой гнали свиней к знаменитым бойням, знаменитые бременские свинопасы. Город отметил свою старинную традицию. Увековечил ее. Оповестил о ней всему свету с улыбкой. И это искреннее признание вызывает столь же искреннее расположение к городу, доверие к нему. Так же, как в Копенгагене вызывает доверие и умиление знаменитая «Русалочка». Вообще, должен заметить, что любой мало-мальски уважающий себя город всегда имеет некую архитектурно-скульптурную изюминку, связанную с городским фольклором, которая придает городу человеческую, если хотите, интимную составляющую. Сколько-то лет назад, в Киеве, на Андреевском спуске появился бронзовый Паниковский, самый знаменитый «слепец» этого старинного города. Популярность эта, вылепленная в «натуру» бронзовая фигура, приобрела – фантастическую. Все норовили постоять рядом, сфотографироваться. Стоял рядом с Паниковским и я. Стоя, подумал, что вполне уместен был бы, кто либо из «детей лейтенанта Шмидта» и в знаменитой их вотчине – Бобруйске, но, дорога ложка к обеду и, если киевляне «заполучили» себе слепого нищего, волею замечательных писателей переквалифицировавшегося в сыновья Шмидта, то незачем «обезъянничать», повторять то, что удачно изобретено для другого места. А, город словно услыхал мои рассуждения и в скверике у начала ул. Свердлова, в том самом под которым расположились бывшие бомбоубежища, вначале робко появилась некая бронзовая дамочка на бронзовой же скамейке, потом, не успев обрасти городскими побасенками, рядом с ней возникла девочка под зонтиком. Не разобравшись, что к чему городской «плебс» зонтик выломал, однако девочке приделали новый зонтик

и город замер, почувствовав, что что-то происходит ему, пока, непонятное.

Однажды утром, идучи по делам, остолбенел – ночью, без помпы и суеты в том же скверике появился новый бронзовый «минчанин», который просил закурить. Скульптурно-архитектурный узелок вокруг скверика образовался. Завязал его Юрий Жбанов, скульптор, который совершенно по-своему увидал нас с вами, взял за ручку и повел в сторону противоположную той, где живут черные истуканы. Вернее в ту сторону, где черным истуканам жить заказано, поскольку в этой стороне живут живые люди, которые смеются и улыбаются, читают стихи и не стесняются дать прикурить своему бронзовому земляку.

Как ни странно, появление в городе бронзовых граждан, которые никого никуда не призывают, которые никому ничего не указывают и никому ничем не угрожают – было воспринято горожанами спокойно и с пониманием. Удивление вызывало одно,– Неужто, наши городские власти так сильно «выросли над собой», что наплевали на пресловутую «монументальную пропаганду» и оборотились лицом к гражданам. Да при этом лицо у них оказалось способным на улыбку. Эти, казалось бы, частные скульптурные экзерсисы, зародили у горожан крамольную мысль,– А, может наши городские власти не столь безнадежны, коль умеют усмехаться абсолютно по человечески… Может с ними можно разговаривать, приводить аргументы и надеяться быть услышанными?.. Может, уместно рассказать им, в каком замечательном городе они стали, волею провидения, градоначальниками?.. Может, поймут, что ворочаться по слоновьи в этом городе не следует, все, что досталось нам в наследство – столь хрупко… Может, сообразят, что не только бронзовые граждане нашего города заслуживают улыбки и доброго отношения, но и живые его насельники тоже ожидают доброго слова, которое, как известно и кошке приятно. Что этого доброго слова и доброго к себе отношения ожидают и на него надеются и тракторостроители, и торговцы, и художники, и студенты, и ученые, и писатели, и социал-демократы, и работники загсов, и милиционеры, и акушеры, и водители метро, и рубщики мяса, и мающиеся на Володарке, и те, кто излечивается на Прилуцкой, и ветераны всех минувших войн, и те, кто без определенного места жительства. Поскольку все они – и вышеперечисленные, и те, кто в список этот не угодил – наши минские местичи, горожане, знакомцы, почти родственники – так уж устроен наш город, так в нем заведено. Правда ледок между городскими властями и горожанами копился и намораживался долговато, для того, чтобы растаять в одночасье. Слишком близки мы еще к архипелагу

черных истуканов, слишком ощутим ледяной, пронизывающий, отчуждающий ветер-сквознячок, что продувает протоки между островами архипелага. Но надежда теплится – и я знаю, что нужно сделать, чтобы количества льда, холода и неприязни поуменьшилось, а количество тепла, пусть на капельку, да прибавилось. Потеплению в обществе способствует появление новых, добрых и веселых традиций. Я веселился от души, когда, в какой-то из недавних, осенних праздников-кирмашей, когда в стольный город прикатили с булками, колбасами, драниками, яешнями люди посполитые из разных замечательных районов Беларуси, кто-то, кому не хватило места в общем ряду, поставил свою палатку прямо на ступенях КГБ и никто из «конторы глубокого бурения» не выскочил, не выбежал, не разметал выпивку-закуску по сторонам, не стал вызывать «омоны и спецназы», а просто сообразил,– Веселятся люди, ну, и пусть веселятся… В конце концов, не так много веселого в нашей жизни, чтобы и такую, малую толику, запрещать…

Поэтому, в эту Новогоднюю ночь пойду, пожалуй, туда, где одна традиция возрождается, на центральную площадь, ту самую, где стоял главный истукан, а потом, в его отсутствие, на площади заливался каток. Говорят каток, назло истукану, залили и в этом году. Пойду – отмечусь! Потом, схожу на площадь, перед Комаровкой – туда, где формируется новая традиция,– здесь собираются встречать Новый год старые и новые минчане. Старые – те, кто живет в Минске давно, новые те, что появились совсем недавно и, которые мне симпатичны: бронзовый фотограф из позапрошлого века с милой барышней, бронзовая же лошадка, седло у которой уже отполировали детские задницы до зеркального блеска, ну и, конечно, символ частного предпринимательства – «тетка с семками», плотно, основательно и надолго усевшаяся на ступеньках Комаровки. Может быть, через сто лет, проходя мимо – первый белорусский миллиардер, владелец заводов, газет, пароходов усмехнется увидав ее и узнает в ней своего генетического предка. Может быть, к тому времени и в Минске появятся предания про мальчика, который купил яблоко, но вместо того, чтобы его съесть – продал, купил два яблока, снова продал… А потом, померла его тетка, что, торгуя на Комаровке семечками скопила миллион, который и оставила мальчику в наследство. Короче, все будет, как у людей, которые давно и весело живут в нормальном, не вывернутом наизнанку мире, в мире, где думать забыли про черных истуканов, а если и оставили парочку, то только, как напоминание и предостережение…

ГЛАВА 36

«…Мороз и солнце – день чудесный!..»,– ну, да, сегодня же 1 января уже 2003 года. Когда-то, казалось, как это далеко, каким к тому времени я буду старым, да и доживу ли, вообще… А вот, пришло, и идет дальше и продолжает отсчитывать, отщелкивать годы, неостановимый метроном – щелк-щелк, стук-стук!.. И, вроде, еще не старый, во всяком случае, не хочется себя осознавать старым. Вот, только, что-то головка с утра, не того!.. Что же вчера пили? Да и сколько, между прочим? Пару фужеров шампанского, рюмки три коньяка – вроде не много, а головная боль, как после хорошей попойки! Нет, все-таки, возраст! А, были времена!.. Кстати, а как мы в моем городе выпивали, когда нам было море по колено, да и что выпивали, кстати. И сколько?.. Друг мой, а стоит ли вспоминать? И сам себя уговариваю,– Ну, почему бы, не вспомнить! Тем более утро раннее, Новый год, спешить некуда…

Соврал бы, если бы сказал, что попробовал алкоголь только на выпускном вечере в школе. В школе, на выпускном балу – было официально дозволено, а, вообще-то, собирались и до того, на вечеринки, и на Новый год, и на 1 мая, и 8 марта – обязательно. Договаривались, с кем ни будь из родителей, чтобы позволили побыть одним, без присмотра, потанцевать, побалдеть, потискаться в темных уголках. Ну, и, кто-либо из наиболее «продвинутых» приносил с собой бутылку другую сухого. Обычно это был или Леня Лещинский, или Вовка Смирнов, или Леня Сиверцев, или Вовка Спиридонов. Ну, и я, грешный, помнится, не отставал. Однако, все это было чрезвычайно невинно и, как-то очень по детски. Во всяком случае, не до потери пульса, как случается с нынешней молодежью, и раза три в год. Короче, что такое алкоголь знали, но относились к этому без фанатизма, можно сказать, равнодушно… На выпускном, позволили себе, но тоже, не очень – впереди была прекрасная ночь, с которой у каждого были связаны некие таинственные планы… Ведь пришло время расставаться, у каждого определялась своя судьба, она могла идти параллельно, могла сплетаться с чьей ни будь, а могла разойтись кардинально. Именно в эту ночь, так нам казалось, следовало определить и обозначить будущее сплетение судеб – до выпивки ли тут было… А вот на следующий день после последнего экзамена, уже почти совсем «взрослые», уже не школьники, уже аттестованные на зрелую жизнь, пошли всей мальчишечьей компанией в ресторан. Был это ресторан «Лето», тот самый, что при входе в парк Горького со стороны Ульяновской

улицы. Он, по-моему, и сейчас так называется. Мы выбирали его долго, остальные, казались страшными. Казалось, что если зайдем туда – нас непременно выставят с позором. А, вот «Лето», почему-то представлялся чрезвычайно демократичным. Как вошли, как сидели, как заказывали, как шушукались, подсчитывая наперед, хватит ли у нас денег, или не хватит, как делали заказ, скучающей официантке – это отдельная песня! Мы были забавны в нашей тогдашней детской неумелости и робости, мы были потешны, когда, съев некий немыслимый шницель с яйцом (фирменное блюдо всех тогдашних ресторанов средней руки), и, выпив на виду у всех, по паре рюмок водки (ну, совсем, как взрослые!), вырвались мы из этого «Лета» вполне благополучно и, более того, с жутким облегчением. Как мы обсуждали по дороге домой этот первый поход в «кабак», как гоношились друг перед другом, как убеждали, что совсем не испугались официантки, как изображали из себя слегка, но не сильно, поддатых… Господи! Верни нам то время!..

В студенческие времена, «заведенки» пить, тоже не было. Во-первых – не хватало денег, во-вторых – было много иных интересов. Правда курс наш, на котором были ребята почти взрослые, отслужившие армию, особой аскезой не отличался и, когда, началась пора свадеб, а первым женился Эдик Аединов, вторым, кажется, Володя Малиновский, то уж на свадьбах погуляли от души. Но, опять таки – это было редкостью. Не каждый же день свадьбы! Все остальное время проходило в трезвости. Во-первых – спорт, во-вторых – театр, в-третьих… Можно долго перечислять, но я уже сказал, было много других интересов. Хотя было много и соблазнов. В те далекие годы в Минске, кроме бочек с пивом, стояли на перекрестках – бочки с сухим вином, и запросто можно было дернуть по стаканчику-другому, легкого-легкого, хорошо разбавленного продавцами «сухача». Гурманы ходили на Комаровку, где целый ряд занимали молдаване с привозными бочками домашнего вина. Здесь можно было ходить между бочек, дегустировать, изображать из себя знатока, беседовать с продавцами о достоинствах вин. Тем более, что продавцы были заводные,– Ты у меня попробуй! Попробуй… Это же настоящее «Каберне», настоящий «Совиньон», настоящее «Мерло»… Приходилось пробовать, причмокивать, делать вид, что разбираешься… Это давнее знание, память о настоящем вкусе вина, совмещенная с умением вставить к месту пару слов по делу, помогала потом сходить за знатока, на безумных молдавских винных базарах, на импровизированных дегустациях вин в грузинских деревнях Алазанской долины, на кахетинских, имеретинских застольях, на дружеских пирушках в Сухуми, в

Гаграх, в Сванетии – уж, где-где, а в Грузии было попито от души… От души, хорошего, настоящего вина было попито и в Молдове… Помню, на всесоюзном мультипликационном пленуме в Кишиневе, «принимала» нас – цвет советской мультипликации – Наташа Бодюл, наша коллега, дочка тогдашнего Первого секретаря ЦК Компартии Молдавии… Прием был, как мы шутили, на уровне Жискар Д"Естена, а когда повезли в винные подвалы Криковского завода шампанских вин, где автобусы по подземным улицам ходят по маршруту от проспекта «Брют», до проспекта «Негру де Пуркарь», выезжют на улицу «Каберне», сворачивают на площадь «Совиньон»… Ребята, можно я не буду продолжать? Во-первых, вы просто не поймете, во-вторых, подумаете, что это все не правда, и я заврался. Именно там, в винодельческих Эльдорадо Грузии и Молдовы, понял, что пить мы не умеем, пьем неправильно, глупо, по варварски. Что питие вина – это и наслаждение и наука и воспитание! Именно там, кто-то из старых и умных людей, сказал,– Человек может пить без вреда для здоровья – хорошее вино, хороший коньяк, хорошую водку и прожить сто пятьдесят лет.

Казалось бы, что такого сказал? Но в сказанном был заложенный мудрым человеком мудрый смысл. Поскольку бывает плохое вино, отвратительный коньяк и, как ни странно, плохая водка, хотя у всех на слуху присловье: «Плохой водки не бывает, ее бывает только мало!». Тем не менее, бывает плохая водка. Ее иногда делают, черт его знает, из какого сырья, из каких спиртов. Однажды с Юрой Марухиным в Сыктывкаре мы «напоролись» на воркутинскую водку, и не смогли осилить вдвоем одну бутылку – жуткое пойло. Местный абориген, абсолютно авторитетно заявил,– Так она же из каменного угля!

Вы знаете, может быть… Все, что содержит углерод, можно теоретически превратить в спирт, но вот, только, стоит ли травить этим спиртом человека. Впрочем, в «великом и могучем Советском Союзе», именно о человеке думали меньше всего. В середине-конце шестидесятых появилось в стране море разливанное напитков, которые и напитками называть было зазорно, поэтому народ окрестил их «чернилами», «бормотухой», «синькой». То, что происходило с теми, кто их регулярно употреблял – было страшно, лица у людей синели, становились через полгода, стабильно бурачного цвета, глаза наливались кровью, руки тряслись, как будто внутри организма работал отбойный молоток, а, что происходило с артериальным давлением – никому не ведомо, поскольку те, кто потреблял «чернила» никогда давление не мерили. При этом, привыкание к этому пойлу, практически полная алкоголизация организма,

происходила стремительно – год, полтора и человека нет. Не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова. Всяческие «Солнцедары», «Агдамы», «Плодово-ягодные» быстро уничтожали популяцию советских людей. Их «гнали» повсюду. Во всех колхозах, совхозах перерабатывали гниющие фрукты, разбавляли левыми спиртами и «выбрасывали» в продажу. Я думаю, что найдутся специалисты, которые докажут, что я не прав, что все было совсем не так, что качество «плодово-выгодных» напитков было под контролем и находилось на высоте. Я бы охотно поверил, но, как быть с памятью? Она свидетельствует, она проявляет лица и имена друзей, между прочим, и талантливых и умных, проигравших в этом состязании. Слишком агрессивно вело себя государство в стремлении достичь максимальной прибыли, используя некачественные средства. Сдается мне, что и последовавшая запретительная реакция, превратившаяся в очередную кампанию головотяпства, с вырубанием виноградников, запретом производства вина, была с одной стороны спровоцирована этой немыслимой алкоголизацией, с другой – была ее продолжением по лини глупости, которую демонстрировали партийные бонзы, хотевшие сделать как лучше, но, у которых получилось, как всегда.

Кто-то из парламентариев 12 созыва, рассказывал мне такую байку,– Однажды на заседании, где обсуждлись акцизы на ввозимые в страну виноматериалы, некто из народных избранников обратился к Парламенту с такой филлипикой: «И так народ спивается, а мы еще будем ввозить вино в сухом виде!»… Это он про сухое вино говорил, видимо, представлял, что коль оно называется сухим, то и завозят его в виде порошка. Не знаю, байка это или правда, но, помнится, состав некоторых депутатов Парламента 12 созыва, вполне соответствовал этой байке. Так мы оказались единственной страной в мире, где водка стоит дороже сухого вина, которое, особенно знаменитое молдавское «Каберне», в нашу страну завозить не мешало бы даже в «сухом» виде, коли бы такой существовал в природе. Однако, что случилось, то случилось… С тех пор мы забыли вкус хорошего вина – не по карману! Зато водку «потребляем» – любо-дорого. А она, подозреваю, у нас не самого высокого качества, поскольку с чего бы иначе – такая дешевая. Водка, виски, бренди, сливовица, палинка, граппа – любой алкогольный напиток крепостью сорок градусов и выше во всем свете дороже вина, вернее, вино дешевле этого крепкого напитка. Этим самым государство, осуществляющее контроль за рынком алкогольных напитков, поощряет своих граждан к употреблению легких, менее губительных для организма, а в чем-то даже и полезных

виноградных, натуральных вин. Во всем мире, но не у нас! О том, что мы страна особенных людей свидетельствуют история, так или иначе, связанная с тем, что сформулировал еще «красное солнышко» Великий Князь Киевский Володимир Святославич, а именно: «Веселие на Руси – есть пити!». Говорят, из-за этого он и крестил Русь в православие и отказался от, во многом ему импонировавшего, ислама. История такова… В пору моего телевизионного представительства, образовались на 8 канале заинтересованные спонсоры, которые в нашей республике торговали дорогой и качественной выпивкой. Мне было предложено отрекламировать «Мартини». Я честно во время передачи рассказал все, что про этот напиток знал. Рассказал, что изобрел его еще Гиппократ, что является он настойкой белого сухого вина на полыни, что именно поэтому прелестные дамы во всем свете заказывают именно сухой белый «мартини» поскольку другого просто не существует. Одним словом выложился на все сто. Однако представитель спонсоров, юный менеджер по рекламе, осталась неудовлетворенной,– Олег Павлович! Мы вами недовольны!

– Отчего же?..

– Вы забыли сказать, что «Мартини» – это вермут, вот тут, видите, написано…

– Милый, менеджер, я ничего не забыл, я не сказал этого умышленно…

– Но, тогда, вы нарушили наш договор…

– Мы не договаривались, что я буду повторять все, что написано в Швейцарии…

– Олег Павлович! Как вы можете! Тексты утверждаются в главном офисе, и изменять в них, что-либо нельзя.

– Вот именно… Текст, написанный в главном офисе, может быть зачитан где угодно: в Англии, во Франции, в Бельгии, Испании – и всюду будет понят адекватно. Только не у нас! Потому, что вермут в наших краях всегда был самой паршивой, самой дешевой «бормотухой». И если бы я с экрана сказал, что «мартини», который всяческие «новые» покупают за десятки «баксов» бутылку – это вермут, то завтра у вашей фирмы могли случиться крупные неприятности,– Втюхивают, понимаешь, «вермуть» по цене… Ну, и так далее…

Юного менеджера по рекламе мне переубедить не удалось. Почему – понимаю… Она никогда не пила советского вермута. Она счастливый человек. Она работает в фирме, которая продает хорошие напитки, придуманные в древнем мире еще Гиппократом. А Гиппократ, как известно, был медиком, да еще и древним греком к тому же, которые в винах разбирались хорошо.

Он ничего плохого в виноделии предложить и придумать не мог. Более того, испортить вино, для любого грека в древности, как, впрочем, надеюсь, и теперь – было святотатством. А для нас, пустить в продажу некачественные виноматериалы, проще простого. Свидетельство тому, участившиеся скандалы с минским заводом шампанских вин, с другими заводами, разливающими вино. Скандалы эти не проходят мимо читающей газеты публики и не прибавляют доверия местным «виноделам». Да и та публика, что газеты не читает, особого доверия к вину белорусского разлива не питает, поскольку доверие доверием, а головная боль по утрам – убедительнее. Вот, как примерно у меня сегодня. Самый точный индикатор. Как у кошки, которая не лопает сосиски. Подойдет, понюхает и отвернется – некачественное. Так и голова у человека на утро после праздника, если болит, что-то было не так с выпивкой. В самом деле, в тех странах, где чтут и Гиппократа и древние винодельческие рецепты, бывало и текилу, и вино, и виски мешал, а сверху еще мог «прокрыть» настоящей экспортной «Московской» – никогда головной боли на утро не случалось, а тут – на, тебе – всего ничего, а голова «сигналит» – больно, плохо. А, ведь, умные и опытные люди учили: «Поберегись! Не «мешай» наше шампанское с другой выпивкой!». Но, что же это за Новый год без шампанского? Так-то оно так, да только, наверно, шампанское, должно быть из Шампани, в крайнем случае – из Абрау-Дюрсо, или из Криковских подвалов Молдовы. Коньяк, если не из французского города Коньяк, то, хотя бы, из Армении, Грузии или, опять, той же Молдовы. Если ставишь на стол вино – то должен быть уверен, лоза произрасла и дала плоды там, где климат позволят аккумулировать солнце в виноградных гроздьях, там, где эти гроздья умеют превращать в вино, там, где под землей проходят винные проспекты и коньячные улицы. Там, между прочим, эти божественные напитки должны быть и разлиты с соблюдением всех технологических, тончайших особенностей, а не бултыхаться в цистернах сотни километров, чтобы, утеряв и вкус и цвет, и аромат и целебные свойства, превратиться в конце концов во вновь заполнившие наши прилавки всяческие «Крыжачки» и «Свитанки» от которых синеют носы и подскакивает давление до предъинсультного состояния.

Не могу сказать, что в юности мы много пили. Не более чем нынешняя молодежь. Но одно могу сказать точно, старались пить хорошее, пусть дешевое, но натуральное вино, реже коньяк, все-таки студенты, какие доходы. Случалось пить и водку, но ее не любили, может оттого, что не было в Минске проблем с сухим вином.

Правда, от той, старой, запечатанной еще белым сургучом «Столичной», почему-то на утро голова тоже не болела. Может, просто, молоды были? Или, в самом деле, та водка была хорошей?…

ГЛАВА 37

Первая церковь в моем городе, которую помню, была небольшой, невзрачной, деревянной и находилась на том месте, где Бобруйская улица вливалась в площадь Мясникова. Была она такая незаметная, что, пожалуй, не осталась бы в памяти, если бы не то обстоятельство, что как раз возле нее располагался войсковый наряд с ракетницами, который каждое 1 мая, 7 ноября, впоследствии и 9 мая, короче в каждый праздничный советский день пулял в небо ракетами, устраивая для нас пацанов столь долго ожидаемое развлечение. Этой связью с салютами – церковка и запомнилась. Когда ее сломали, не припомню. Скорее всего, в то время, когда реконструировали площадь Независимости. Тогда порушили вокруг Дома правительства много приметных зданий, но площадь отгрохали самую большую в Европе.

Красный костел – не воспринимался как церковь. Он был вначале киностудией, потом Союзом кинематографистов и Домом кино. Следует заметить, что партийные власти не раз покушались взорвать и Красный костел, только на моей памяти было пару поползновений на этот акт вандализма. Однако, и Бог берег это уникальное для Минска сооружение, и еще то, что занимал его Союз кинематографистов, в то время организация в республике влиятельная. Да и у архитекторов, озабоченных переустройством Минска, приданием ему нового, современного облика, видимо, духу не хватало, Красный костел разрушить.

Еще одна церковь, храм Александра Невского, располагался на военном кладбище и когда отец получил мастерскую на Долгобродской, как раз напротив входа на это кладбище, из окна мастерской, наблюдал, как, словно мышки, проскальзывают, спеша в храм, сквозь кладбищенскую калитку, старушки-богомолки. Вообще, роль этих старушек, сохранивших в душе своей живую веру, не взирая на гонения и запреты, поддерживавших церковную жизнь, выстоявших против тотального наступления атеизма не осмысленна и не оценена нами, теми, что кичились вначале своим безбожием, а теперь сановно заняли места поближе к алтарям.

Как ни странно, но интерес, вначале чисто академический, к христианству возник у меня на университетских лекциях по научному атеизму, была такая обязательная дисциплина в вузовском курсе. Но, как и всякая идеологическая программа, будь то научный коммунизм, или история партии – эта программа составлялась в расчете на то, что студиозус-советикус

никогда не подвигнется на чтение первоисточников, а удовольствуется многомудрыми комментариями. И если с научным коммунизмом и историей КПСС эти номера проходили, поскольку первоисточники, партийные документы, во-первых любопытства не вызывали, а во-вторых – самые интересные из них, были строжайше засекречены, то с научным атеизмом обычная ориентация на замену первоисточника комментариями, иногда сбоила. Первоисточник существовал. О нем все знали. Это была Библия. И хотя в открытой продаже ее не было, достать в Ленинской библиотеке – все же удавалось. Правда, с трудом. Правда, объясняя разным суровым библиотечным теткам, почему, да зачем тебе понадобилась Библия. Да, что ты хочешь там найти… Однако, библиотечный запрет на первоисточники, все же был преодолим. Готовясь к экзамену по научному атеизму, «проглотил» за четыре дня подготовки и Ветхий завет, и все Евангелия, и все письма Апостолов, входящие в полный текст Книги. Удивительно, но экзамен сдал на отлично. После экзамена по «атеизму» вынес одно – ощущение, что приобщился к величайшему литературному памятнику человечества. Почему этот памятник человеческого духа вызывал такую лютую злобу у коммунистических идеологов, стал задумываться, позже, когда, приехав в Слуцк к родственникам, с двоюродным братом и его друзьями отправился на Пасху ко всенощной. Пошли по простой причине – было любопытно. Однако, за три улицы до церки, нас встретили кордоны милиции с комсомольскими активистами, которые, только что физиономии идущим в церковь не понабивали, а так, все остальные приемы устрашения применили: и паспорта требовали, и адреса с именами выясняли, и с какой целью, куда направляемся, и состоим ли в комсомоле (вот, ужо, напишем в комитет, что ты за комсомолец!) – все было исполнено. Когда возмущение этой дурацкой акцией достигло точки кипения, милиция и комсомольцы, попытались помешать крестному ходу и казалось драка была неминуема, случилось так, что священник, нашел слова для увещевания, и одних и других, равно готовых вступить в конфронтацию.

Впоследствии этот случай, все время вызывал в душе непокой и недоумение. Почему,– думалось,– с какой стати такая ненависть, что плохого собирались сделать люди, принесшие к церкви куличи, крашеные яйца, люди, говорившие друг другу слова любви, обменивавшиеся пасхальными поцелуями. С возрастом стал осознавать – именно это, приобщение людей к очищающему душу чувству всеобщей, человеческой любви, и вызывало злобу у партидеологов, поскольку именно ненависть, классовую злобу пытались насадить они в человеческих сердцах

вместо христианской любви. Однако злоба оказалась недолговечной, как и коммунистическая идеология, как и коммунистическая практика запугивания, устрашения, репрессий.

Еще один повод для размышления о сущности любви и ненависти случился в «эпоху» борьбы за Красный костел. На рубеже 90-х годов был принят закон, по которому бывшие церковные строения, храмы, должны были быть возвращены верующим. Согласно этому, справедливому закону, костел Святых Сымона и Алены, как стали называть знаменитое здание на площади Независимости, так же был быть возвращен католической конфессии. Не могу сказать, что эта идея, была однозначно воспринята благожелательно кинематографической общественностью. Нет! Среди нас было достаточное количество тех, кто считал, что закон законом, а «понятие» диктует, что уступать нельзя. Было и много тех, кто полагал, что возвращение костела – дело святое и справедливое. Общественность, что называется, поделилась пополам. Представители католической конфессии заняли довольно жесткую позицию, не соглашаясь ни на какие переговоры – выметайтесь, дескать, из костела, безбожники, и все тут. Начались акции с голодающими на морозе старушками, которые заплевывали, входящих в Дом кино, награждая их, при этом, эпитетами вовсе не из лексикона христианского человеколюбия. Заседания правления Союза кинематографистов, шли непрерывно. Тех, коллег, которые занимали жесткую позицию, удалось постепенно убедить в том, что храм должен быть возвращен верующим. Да, не мы его забирали! Да, во многом благодаря нам он был сохранен! Все так! Тем более следует сделать последний шаг доброй воли и Храм освободить. Во многом, должен сказать, эта позиция возобладала благодаря настойчивости, здравомыслию, стремлению сохранить в городе социальный мир, избежать межконфессиональных конфликтов, просто желанию понять друг друга, желанию пойти на встречу друг другу, которых придерживался тогдашний председатель Союза Вячеслав Никифоров. Принять решение было тем более нелегко, что и партийное и городское начальство заняло откровенно провокационную позицию – разбирайтесь, как хотите, наша, хата с краю! Между тем, партийная и советская «хата» в те времена, была еще отнюдь не с краю. Еще – если не все, то очень многое от них зависело. Ну, например, а куда, собственно, выезжать Союзу кинематографистов? Ответ – а куда хотите! Горисполком кивал на горком, горком на ЦК, ЦК на горисполком. Порочный круг казался неразрывным. А бабули у входа голодают и скандалят, ксендз проявляет похвальную твердость, кинематографисты колеблются, партийцы «в тихаря»

улыбаются, дескать, за что боролись, на то и напоролись. Конфликт, казался неизбежным. Слава богу, удалось его избежать. С огромным трудом, как временное решение проблемы, добились для Союза, временного помещения на Карла Маркса 5. Согласились с предложенным, поверив представителям партийной и советской власти, что со временем Союзу будут предоставлены и т.д., и т.п… Ничего, конечно, предоставлено не было. Как всегда, коммунисты солгали, по сути, прервав существование в столице, очень активной общественной организации Союза кинематографистов. Однако, ущербности в душе оттого, что приняли такое решение, не ощущаю, ибо уверен – Храм передали правильно, он для того и был построен, чтобы в нем люди молились. Разговоры о том, что не тем передали, что следовало не идти на поводу у католиков, а следовало договориться еще с кем либо из иных, более «лояльных» конфессий – отметаю. Не наше это было дело, не кинематографическое, заниматься нечистоплотными играми. Да, по большому счету, в моем городе, в котором исторически сложилось конфессиональное разнообразие, в городе, где население впитало христианское – «нету ни грека, ни иудея», где испокон века мирно уживались и православные, и католики, протестанты, иудаисты и мусульмане. Где рядом с костелом, стояла синагога, рядом с православной церковью была мечеть, где пресловутая белорусская толерантность, начиналась именно, как толерантность межконфессиональная – смешно говорить о некоей церковной предпочтительности, о том, что какая-то ветвь христианства более «исконная», что некая конфесиия более соответствует национальному характеру. Вопрос ведь не в том, кто как молится, кто как принимает святые дары, кто как крестится, кто в какую церковь ходит. Вопрос в том, и лишь только в том, живет ли в душе любовь к ближнему, что, согласитесь, одинаково важно и для христианина и для мусульманина и для правоверного еврея.

Пришел я к этому убеждению после разговора с минским раввином, удивительно интеллигентным и доброжелательным, вовсе не старым еще человеком. В нашей беседе он обронил слова: «Все мы, в конце концов, люди Книги!» и эти слова запали в душу. Можно сказать,– Да! Три мировые религии ведут свое начало от Ветхого завета, Торы. Три мировые религии во главу угла ставят любовь к ближнему, руководствуются десятью заповедями. Но, раввин, имел в виду еще нечто. Думаю, в его словах было заложено то, что может объединить и верующих, и атеистов. Сказав, «все мы люди Книги» он подчеркнул непрерывность и неистребимость человеческого стремления к

познанию, которое идет по двум дорожкам, дорожке собственно знания и дорожке веры, которые соединяются, сливаются в великих Книгах – Библии, Торе, Коране.

Однажды в разговоре с владыкой Филаретом, я вскользь затронул эту тему. Я опасался, что православный иерарх не разделит моих, в общем-то, дилетантско-светских, размышлений. Оказалось, нет! Оказалось он об этом глубоко и основательно думает. Оказалось, мои наивные эукуменистические воззрения в чем-то, не чужды и для него. Не чуждыми они оказались и для протестантов и для мусульман, с представителями которых не однажды заводил разговор о нас, как о «людях Книги».

Тогда и подумалось, может быть в этом и уникальность моей родины, что ей наиболее внятна идея человеческой общности, человеческого единения в любви, вере и знании. Что, за свою историю, пройдя по многим кругам страданий, неприятия, противостояния, она выработала некий «витамин толерантности», который позволяет преодолевать ненависть застилающую глаза, позволяет искать компромиссы в самых неожиданных ситуациях. Позволяет выживать, сохранять себя на самых свирепых исторических перекрестках. Может, терпимость наша, наша «толерантность», наше умение услыхать и принять иную точку зрения, услыхать оппонента, пройти мимо, не обратив внимания на агрессивную глупость, это извечное белорусское – «абы не было вайны!», свидетельствующее не только об антимилитаризме, но и вообще о неприятии насилия, давления, об активном «непротивлении злу насилием», каким образом и как, давшему плоды на нашей истерзанной насилием земле – это вовсе не слабость наша национальная, а сила и мудрость. Может быть потому, что подсознательно мы, живущие на белорусской земле, ощущаем свою общность, как «людей Книги», поражает различных, проводящих международные тестирования социопсихологов, тот высокий интеллектуальный уровень, который проявляется при общих исследованиях нашего народа, но не очень заметный в частной жизни каждого из нас. Может быть, значит это, что наше время еще не пришло, что все у нас еще впереди? Во всяком случае, что не все уже потеряно, что нужно верить и любить, надеяться и стремится, смирять гордыню, молиться и уповать!

Не всегда побеждает уверенный в своей силе Голиаф, когда-то приходит время носителя веры и разума – Давида!

ГЛАВА 38

Я родился в русскоязычной семье… И, должен сказать, в послевоенном Минске эта «ущербность» была неощутима. Может, происходило это оттого, что, развиваясь стремительно и бурно, Минск всасывал огромное количество приезжей публики, которая со временем должна была стать минчанами, гражданами моего города. Публика в основном была приезжая из России – начальники, специалисты, да и белорусы, возвращаясь домой, привозили, приобретенный за годы военного лихолетья, русский язык, как награду, как достоинство. Видимо, демографическая ситуация, когда «начальство» говорило сплошь по-русски, вызвало забавный феномен – наводнившие город выходцы из белорусской глубинки, закончившие нормальные белорусские школы, тоже «цураліся» родного языка, как деревенского, как родового свидетельства принадлежности к населению второго сорта.

Однако, пока мы носились по улицам, гоняли плоты по огромным лужам во дворах и делали набеги на соседские огороды – эта разница не замечалась и на то, кто с каким акцентом разговаривает нам было в высшей степени наплевать. Более того, став взрослым и начав задумываться над проблемой, как бы это сказать позаковыристей – «лингвопсихологиии» или «психодингвистики» выяснил, что и до войны эта проблема минскую пацанву нимало не мучила – во дворах, на улицах, по огородам совершенно спокойно «трекали» аж на трех языках – белорусском, польском и еврейском… Пожалуй, все же, точнее будет сказать о четырех равноупотребимых языках, поскольку русский звучал тоже, в основном в центре города, где всегда жило самое разнообразное начальство.

Впервые столкнулся с тем, что не все в порядке «в датском королевстве» в школе. В нормальной общеобразовательной, вовсе не элитной (таковых в моем детстве просто не было), вновь построенной в Добромысленском, ставшем со времени Добромышленским (уловите тонкую лингвистическую разницу) переулке школе №41. В нашем очень небольшом классе, дети военных, приезжих, имеющих документы о том, что они не белорусы, от изучения белорусского языка освобождались. Это была «дискриминация» навыворот. Можете себе представить реакцию нормального пятиклассника, который идет на урок «беляза» в то время, когда его сверстник отправляется гонять футбол во дворе школы. Это было несправедливой и нелегкой повинностью. Поэтому, у нас, не пользующихся какими либо специальными языковыми льготами, уроки белорусского языка

воспринимались, не как радостное приобщение к языку родному, а как некая раздражающая, дополнительная, никому не нужная обуза. При этом следует добавить, что в возникавших в школьной среде «дискуссиях» о языке, преобладала убежденность, что вот-вот, совсем скоро, все языки в мире сольются в один и этот один будет, несомненно, русским, поскольку ведь не дураки разные американцы и французы, должны понимать, что социализм все равно победит, а книги Ленина написаны по-русски, ну, и, кроме того, это же совершенно ясно – русский самый богатый, самый красивый, и самый лучший в мире язык… Поэтому уроки русского языка и русской литературы были главными, ежедневными, я разные немецкие и белорусские в дневнике отмечались раз или от силы два в неделю. Почему это так было – недоумеваю до сих пор. Сегодняшний школяр, так же как и пятьдесят лет назад «долбит» русскую литературу, как главный предмет обучения, не имея представления, что есть и великая французская, немецкая, английская, китайская литературы… То же, примерно, отношение к языку и литературе сохранилось в университете. Причем, не на матфаке или физфаке, а на филологическом факультете Белорусского Государственного имени Владимира Ильича Ленина университете. Буквально на днях зашел разговор с коллегой, выпускником родимого отделения журналистики. Коллега, до сего дня сохраняя в душе глубочайшую обиду, рассказывал, как ему выпускнику белорусской сельской школы, было обидно, когда преподаватель ставил «отлично» приезжим из России студентам, ничего не смыслящим в белорусском, более того, сдающим его на русском языке, а ему, отвечающему по-белорусски, мыслящему по-белорусски – выставляли в зачетку банальнейший «уд». С коллегой мы не сошлись в мнениях, поскольку я предположил, что тот самый преподаватель, который принимал экзамены у него, просто таким образом выражал свой протест против оскорбительно незавидного места белорусского языка в нашей университетской программе и методики его преподавания. Смею предполагать, что моя точка зрения имеет право на существование, потому что я ведь тоже сдавал экзамены этому преподавателю, более того, сегодня, вспоминая его, я понимаю, что ему любящему и знающему родной язык было чудовищно непереносим, сам факт, что даже в среде студентов филологов белорусский воспринимается, как иностранный, не очень необходимый в жизни, как некий то ли уже испорченный, то ли слегка «недопеченный» русский.

Позвольте перевести дыхание и рассказать почти анекдотическую, но тем не менее правдивую историю с

филологическим подтекстом.

Была у меня в студенческую и послестуденческую пору знакомая девушка, которая ухитрилась выйти замуж за шведа. Швед был богатый, поэтому девушка ездила отдыхать на курорты Китая, ей очень нравился китайский сервис, ну, а пересадка, как водится, была в Минске, поэтому богатая шведская дама Света Курман, забавляла иногда рассказами из шведского быта…

– Представляешь Олег, какие идиоты эти шведы!.. Сам понимаешь, делать мне там нечего, поэтому от скуки пошла на курсы шведского языка… Для чего-то там они нужны… Что бы гражданство получить, или еще для чего, не вникала.. Представляешь, в школе бар, дансинг, массажные салоны, баня, бассейн, да еще стипендию платят, за то, что туда ходишь… Мне так там понравилось проводить время, что я решила остаться на второй год… Оказалось, на второй год, все то же самое – только стипендию не платят…

Света была прелестное дитя с абсолютно чистым сознанием, а вот шведы, помнится, меня основательно удивили. Еще больше удивили и привели в восторг израильтяне, когда с солидным запозданием узнал, что разговаривают в Израиле, оказывается, не на привычном, в общем-то, для уха минчанина «идиш», а на возрожденном, бывшем мертвом, но обретшим вторую жизнь «иврите». Ошеломленный эти давним открытием, до сих пор считаю, что возрождение из небытия древнего языка, введение его в мировой обиход – величайший национальный подвиг, заслуживающий и почтения и удивления.

Почтение и благодарность к родному белорусскому языку впервые испытал, оказавшись в 1970 году в Праге. В те времена, по горячей памяти, чехи на дух не переносили русской речи. Вас не понимали в магазинах и барах, вам указывали на улице не то направление, вам сквозь зубы, в спину неслись оскорбления, вас откровенно ненавидели и не хотели этого скрывать. Единственным способом маскировки был резкий отказ от русского языка и переход на белорусский. Пражане улавливали разницу, слышали, что язык славянский, но не русский и успокаивались. Вначале это воспринималось как курьез, как забавный пример языковой мимикрии, потом, когда стал много и по делу ездить по Восточной Европе, побывал в Польше, Словакии, Словении, Чехии – понял, что курьезом здесь и не пахнет – белорусский оказался более близким и понятным для словака, поляка, чеха, словенца, чем русский. И обусловлено это было вовсе не политическими причинами. Белорусский более близок к праславянскому языку, чем русский, на него было оказано меньше иностранных влияний. Поэтому, убедился на

собственном опыте, намного легче осваивать польский, словацкий, чешский – если знаешь именно белорусский. Не русский – белорусский, он ближе остальным славянским и по фонетике и по корневому составу слов. Поэтому, когда отдавал дочь в языковую гимназию, без особого труда убедил жену в том, что отдавать нужно только в белорусский класс – это поможет, откроет двери в языковую общность Восточной Европы. Жену убедил. Однако в языковой гимназии упразднили белорусские классы. Аргументировали тем, что математику и, например, химию невозможно преподавать на белорусском, нет соответствующей терминологии, нет и преподавателей, способных вести предметные уроки на родном языке. Спорить с глупостью бесполезно. Рассказывать, что великий Михайло Ломоносов усваивал именно белорусскую математическую терминологию, скушно. Ощущение такое, словно вновь попал в школу, где родной язык не в радость, а в унылую «обязаловку». Странно, почему-то даже те, кто ратует и радеет за необходимость знания родного языка, пытаются выстроить его изучение не на примере шведов, а используя устрашение, принуждение, знаменитое совковое «учи, не то будешь наказан!». Помню, в бытность Евгения Константиновича Войтовича, Министром культуры, легче всего попасть к нему для неспешной и внимательной беседы было утром, без четверти девять, поскольку с восьми к нему приходил учитель белорусского, а после урока образовывался вольный зазор, «форточка», которую и следовало использовать, если хотелось без помех обсудить с Министром насущные проблемы. Несомненно, похвально стремление Министра культуры усовершенствоваться в родном языке, но налет «обязаловки», чего-то, что приходится делать не в удовольствие, а из-под палки, значительно портил впечатление. В веселую пору начала перестройки, родилась идея сделать серию мультипликационных фильмов для самых маленьких белорусов, для дошколят, которых можно было бы через игру, через мультипликацию, вводить в родную языковую стихию. Придумали вместе с Сержуком Соколовым-Воюшем замечательный сценарий, консультировались у преподавателя белорусского языка в Белорусском педагогическом институте Винцука Вячорки, обращались за средствами в соответствующую комиссию Верховного Совета 12 созыва… Там все и умерло! Аргументация отказа была такова – в белорусских детских садиках нет видеомагнитофонов для просмотра мультфильмов, поэтому данный проект неактуален. Акктуалным представлялся немедленный, в приказном порядке перевод всего делопроизводства на белорусский. Вполне допускаю, что с

расстояния в пятнадцать лет, что-то формулирую не совсем точно, но за смысл ручаюсь… Обратите внимание, за пятнадцать прошедших лет, видеомагнитофоны в садиках перестали быть проблемой, делопроизводство же на белорусский не переведено по сию пору. Воз, как говорится, и ныне там. Смею думать, потому, что переучивать даже Министров культуры, бесполезный труд. Начинать нужно, все таки, с детского садика. А к детям, само собой, приходить следует только с игрой, поскольку слово «надо» они не понимают, им ближе слова «весело» и «интересно».

Оказавшись волею судеб, после университета и службы в армии в газете “Літаратура і мастацтва” и освоившись в общности великолепно знающих и любящих белорусский язык людей, совершенно искренне восхищаясь лирикой Купалы, эпосом Коласа, изысканной поэтикой Рыгора Бородулина, Владимира Короткевича, эстетской прозой Янки Брыля, Михася Стрельцова, вникая в сложносплетения образности Василя Быкова, понял – нет языков «первой» и «второй» свежести, нет языков лучших и худших, нет языков главных и не главных, любой язык приспособлен для того, чтобы выразить на нем самые тонкие, самые изящные переливы человеческих ощущений и чувств. Нельзя бороться с языками, нельзя запрещать или разрешать, следует понять, что чем больше языков человек понимает, чем свободней он говорит на языках других народов, тем он богаче, тем большие горизонты перед ним открываются. Механическое ограничение в знании, ограничение в изучении – та самая простота, что хуже воровства. Ибо обедняет, оскопляет человеческую душу. И не язык бывает «хамский», оскорбляющий слух, а, случаются хамы, способные оскорбить любой язык. Пример, разговор одного отставного полковника, приехавшего проживать на пенсии в сытую и благополучную советскую Латвию. Полковник был начальником станции техобслуживания, где нам случилось чинить автомобиль. В подчинении у него были рабочие латыши, разговаривавшие между собой, естественно, по-латышски. Начальник позволил себе оборвать их диалог фразой: «Запрещаю при мне разговаривать на вашем обезьяньем языке!». Сегодня, когда слышу стенания «русскоязычного» населения Латвии, вспоминаю того полковника и, честно признаюсь, не очень сочувствую так называемому «русскоязычному» населению, которое, прожив целую жизнь в среде народа, имеющего свой язык, культуру и историю, не удосужились выучить даже пары слов приветствия.

Я вспоминаю глаза удивительно тонкого, удивительно безобидного, удивительно ранимого парня, литературного критика Варлена Бечика, с которым довелось работать в том же

«ЛіМе», когда у телефона автомата, при мне он нарвался, ведя разговор на родном для него языке, на столь же грубую фразу некоего жизнерадостного дебила. В них была та же беспомощность, что и у латышских рабочих, правда, только беспомощность – у латышей была еще и сдерживаемая ярость.

Чтобы подвести итог, моим не очень причесанным рассуждениям и размышлениям о языковой стихии, в которой жил и живет мой город, расскажу два забавных случая. Был в нашей компании всеобщий любимец – Боря Галушко. Боря, или, как мы его называли, Биг – был потрясающим полиглотом, знал более десятка языков. Но английский был его коньком. Биг, чтобы практиковаться в живом, разговорном языке, «отлавливал» на проспекте, редких по тем временам англичан и американцев, с единственной целью – поговорить. Иногда его арестовывали, подозревая в фарцовке. Но доказать ничего не могли – Боря у иностранцев задаром приобретал один только товар – слова… И, надо сказать, преуспел в этом изрядно. Мы не удивлялись, когда англичанин спрашивал у него, в каком году он закончил Кембридж, а американский «ковбой» интересовался – давно ли Борис приехал из Техаса. Именно знание языков делало Бориса высоким ценителем, я бы сказал, гурманом литературы.

Вторая история не столь «древняя» – случилась недавно на ОРТ в пору дискуссии о судьбе русского языка в Украине. Собрали всех более или менее известных московских «хохлов» и начали их «пытать» на предложенную тему… Совершенно гениально ответил хитрющий и умнющий Петренко. Он сказал,– Сейчас американцы живут лучше всех в мире и все стараются выучить английский. Когда россияне станут самой благополучной и богатой нацией на земле, все будут стремиться выучить русский и вопрос отпадет сам собой!..

Я думаю, что не следует ломать копья над тем, на каком языке говорить белорусам… Говорят, обычно, на родном – это и естественно, и легче всего – родной впитывается с молоком матери, его не нужно специально изучать… Вопрос в другом, как сделать так, чтобы не только белорусы, но и все наши соседи стремились знать белорусский и вопрос, на каком языке говорить, для нас и для них – отпал сам собой…

ГЛАВА 39

Сын подарил мне трубку и сказал,– Представляю тебя с этой трубкой в кресле качалке, у камина… Я поблагодарил за замечательный подарок и про себя подумал,– Ну, вот… Приехали!..

С тех пор, как-то внимательней стал всматриваться в лица стариков, вслушиваться в то, о чем они говорят, словно примериваясь к новому состоянию, новой компании – каково там, что там, какие люди, какие проблемы…

Мир людей пожилых распахнулся передо мной и аккуратно стал поджидать пока не переступлю порог, понимая, что никуда я не денусь – переступлю!..

Не могу сказать, что в этом, новом для себя, мире почувствовал себя уютно, в нем почему-то все толкались. Толкались в троллейбусе, в магазине, на улице, даже дома стал замечать – все время не успеваю сделать шаг в сторону, оказываюсь на пути то у дочери, то у жены… Понял – они все, из параллельного мира молодых, живут быстрее, с иной скоростью. Я тоже совсем недавно жил с этой скоростью и на параллельных курсах ее просто не замечал, а на встречных-поперечных – успевал уворачиваться. Сейчас не успеваю, поэтому, сталкиваюсь, вызывая раздражение и раздражаясь сам. Нужно, следовательно, быть аккуратней, не соваться в толпу в толкучку. Хорошо сказать, быть аккуратней, не соваться – именно там, в толпе, в толкучке, в свалке идет «борьба» за блага жизни – если стоять в сторонке, оберегая собственные бока, тебе ничего не достанется. Подумать то я об этом подумал и оценил справедливость мысли, но в свалку, отчего-то соваться расхотелось, то ли ценности, за которые идет «борьба» показались не слишком ценными, то ли азарта в крови поубавилось. Но голос, который принадлежал мне же самому, но, как бы, стоящему чуть в стороне и, поглядывающему на себя чуть сбоку, подначивал,– Экой, однако, чистоплюй! Кушать не хочет, лекарства ему не нужны, башмаки дырявые его устраивают… Если на себя наплевать – подумай о семье, у тебя перед ней обязательства.

Это был аргумент! Аргумент серьезный, заставивший сделать, что называется, еще одну попытку… Одну, другую, третью… Каждый раз, увы, неудачную. Однако «пир жизни» шумел где-то в стороне. Подумал,– Ладно, пусть так, пусть стерлись клыки и одрябли мышцы, но есть же у меня то, чего нет у азартных молодых особей, есть выращенная во время предыдущих схваток мудрость и прозорливость, они чего-то стоят? Оказалось, что, то

ли мудрость была не настоящая, то ли прозорливость мнимая – они тоже не имели цены, на них тоже не находилось «покупателя». Понял – пришло время переоценивать ценности. Стал прикидывать, как же жить дальше? Оказалось – жизненные потребности основательно ужались. Ушло желание переменить мир вокруг себя, эдакий максимализм, присущий молодости. Исчезло желание всегда и во всем быть победителем, пришло успокоение – мир переменить невозможно, он будет жить и развиваться по своим законам, от меня и от моих желаний нисколько не зависящих. Пришлось научиться довольствоваться малым, оказалось, что ничего страшного в этом нет. Отчего-то чаще стал вспоминать фразу из рассказа Бабеля о стариках, которые сидят на лужайке, наблюдая, как по зеленой травке гуляют кони и женщины и, как ни странно, эти слова стали нравиться, перестали вызывать активное неприятие. Наблюдать, любоваться, оценивать, анализировать. Результаты анализа и наблюдений оказались самодостаточны, игра мысли подтверждала факт собственного существования. Помните знаменитое: «Я мыслю, следовательно,– существую». Расхотелось навязывать кому-либо свои умозаключения. Даже беседуя со своими детьми стал воздерживаться от «мудрых» советов – в конце концов, у них собственная жизнь, в перипетиях и сложностях, которой по всей видимости, они ориентируются лучше чем я с моим опытом, накопленным совсем в другой жизни. Перестал обижаться на слегка покровительственный тон студентов, которым читал лекции, понимая, что – то, что им рассказываю, они обнаружат в своей памяти много позже, когда устанут от немыслимого стипль-чеза жизни, в котором сейчас чувствуют себя уверенно и комфортно. Тогда, может быть, мои странные для них сегодня сентенции, вызовут у них понимание. Может быть… А может и нет, в конце концов, все они, молодые, имеют собственное неоспоримое право не собственные ошибки и пока не совершат отпущенное им судьбою количество этих ошибок, никому на слово не поверят. Пережив все эти метаморфозы, словно змея, поменявшая кожу, почувствовал себя более или менее комфортно. Новая «кожа» нигде особенно не жала, не топорщилась, не мешала съежившейся амплитуде движений и страстей. И все было бы хорошо, но какое то одно слово, которое подспудно тревожило и, может поэтому, не выкристализовывалось, не находилось, мучило память и душу. Я искал это слово, которое, как мне казалось, должно было обозначить нечто очень важное в моей новой жизни, искал, перебирал, пробовал слова из одного синонимического ряда на плотность, на звучание, прикидывал и так и эдак их смысловую

активность и – не находил. А может, боялся найти, поскольку уж больно непривычным было то слово, которое искал. И только смирив гордыню, услыхал его…

Милосердие – вот слово, к которому так долго брел, которое нащупывал вокруг себя и не находил. Готово ли наше общество быть милосердным к старикам, больным, инвалидам, ко всем немощным и убогим. Я знаю, эпитеты – «немощным и убогим» – вас царапнули, вызвали чувство активного неприятия… Я же написал их специально, поскольку это понятия библейские, понятия наиболее точно отображающие смысл и суть явления, определяющие людей не имеющих силы выжить самостоятельно и потому «доверенных Богу», живущих «у Бога», значит нашими с вами заботами, милосердием, любовью…

О какой любви, о каком милосердии, однако, может идти речь, когда недавно был свидетелем судебного процесса, где дети «отсуживали» жилплощадь у матери. Они находили аргументы, убеждали судей, что мать слишком многого хочет, что если не выселить ее, то разделить лицевые счета совершенно необходимо, поскольку дети,– в данном случае, дочь и зять,– не собираются оплачивать ее счета за электричество и тепло. О какой любви может идти речь, если сами старики упражняются писании доносов друг на друга, доказывая, что сосед получает некую льготу совершенно незаслуженно, что лекарства бесплатные ему выдают зря, что внучку в институт «устроил» по блату…

Мир без милосердия… Мир, в котором, упавшему не подадут руки, где умерший на улице утром, может пролежать неприбранным до вечера (был такой случай в Минске, был! Об этом писали все газеты), Мир, где юность жестокосердна, а старость, зачастую агрессивна… Где люди стремительно утрачивают чувство уверенности в себе, чувство собственного достоинства. Не знаю, как вам, а мне это мир не нравится! Но поделать с ним, я ничего не могу. Так же как, думаю, и вы. Но делать что-то надо, потому что жить в таком мире нельзя. Что же делать? Я озираюсь вокруг и первое, что приходит в голову – где же нынешняя церковь с ее проповедью добра, милосердия, любви к ближнему, где она – воинствующая, миссионерская церковь: христианская, мусульманская, иудаистская? Неужто, не понимает, что общество задыхается без ее чистого, прозрачного, родникового слова, без ее жертвенного примера?

Я озираюсь вокруг и ищу, где же государство, в надежде, что оно должно (должно!), так мы с ним договаривались, голосуя за Основной закон, за Конституцию, обязано заботиться о немощных, сирых, убогих – и понимаю,– оно тоже не в силах обогреть, пожалеть, помочь всем старым и несчастным, так как

должно это делать. У него тоже поверх головы иных забот, иных, тоже важных проблем.

Гляжу далее – и не вижу ничего, кроме наших с вами лиц: растерянных, расстроенных, желающих помочь и ближнему и себе, но не знающих, как и каким образом, это сделать. Мы готовы возлюбить человечество, но стесняемся своих чувств и порывов души, когда они направлены на нечто, что нам кажется малым и обыденным. Думаем,– А, что мы можем? Что зависит от нас?– И с горечью соглашаемся с собственным бессилием,– Да, ничего!..

Хотя это, вовсе не так!

Открываю Евангелие и читаю: «Истинно, истинно говорю вам, кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды (…) не потеряет награды своей». Слова, обращенные к Апостолам, обращены и к нам, потому что в мире, в котором так мало добра, в котором не на кого уповать бедному и слабому, сами люди должны спасаться, прежде всего, делая и проповедуя добро.

Сейчас, когда собственная жизнь близка к сумеркам, знаете, что не дает покоя, мучает сердце? Не то, что книжки не написал, что фильм не снял который так хотелось сделать, не то даже, что учеников не вырастил, не передал молодым своего умения, своего знания – в конце концов, сами все постигнут, сами всему научатся, набивая шишки и страдая от этого. Более всего мучаюсь, вспоминая, как ожидал меня дома, заболевший отец, как его глаза искали меня, когда забегал на минутку его проведать, как хотелось ему поговорить со мной, может прикоснуться, погладить, как хотелось ему поддержки, ласки и помощи – он то знал, в какой путь ему вскоре собираться. А я отделывался бодряческими фразами, идиотскими словами успокоения, увериниями в том, что все будет хорошо. Я все время куда-то спешил, мне все время было некогда, занят был «великими» делами. А на поверку вышло, что самое великое для меня дело осталось не сделанным, что самым важным было просто посидеть, да поговорить с отцом, поддержать его не лукавыми словами утешения, а простым пониманием, ощущением моей с ним неразрывности.

Малость? Конечно! Но именно эта малость, вернее, то, что этой самой малости не достало во мне, когда она так нужна была отцу, мучает более двадцати лет, которые прошли со времени его смерти. И не знаю, кому больше эта малость была нужна?.. Ему ли, уходящему, или мне – оставшемуся и терзающему себя до конца жизни, тем, что именно этого и не сделал, именно этого не понял в своей суетной погоне за чем-то, что казалось значительным и важным. Сейчас, перечитывая проповедь

православного златоуста, Архимандрита Иоанна (Крестьянкина), его «Слово о малом доброделании» удивляюсь, как все просто, как доходчиво и понятно: «Оттого я сейчас пою гимн не добру, а его незначительности, его малости. И не только не упрекаю вас, что вы в добре заняты только мелочами и не делаете никакого великого самопожертвования, но наоборот, прошу вас не думать ни о каком великом самопожертвовании и ни в коем случае не пренебрегать в добре мелочами».

Если вдуматься, отец Иоанн, говорит нам,– не озирайтесь в поисках того, кто подаст вам помощь, не ищите, какое бы великое добро сделать для человечества,– уповайте прежде всего на себя, на свою душу открытую добру и способную дарить добро. Не приценивайтесь, что дороже, что дешевле,– поскольку, кто знает, что в результате окажется самым важным не только для ближних, но, прежде всего, для вас самих?!

ГЛАВА 40

Пять лет назад моя, нынче уже десятилетняя дочь, «выдала» сентенцию, которая меня поразила,– Ты знаешь, папа, мой муж будет официантом… – Почему?– вскинулся я. – Ну-у, протянула дочь слегка капризно, словно удивляясь моей бестолковости,– У нас будет маленькое кафе на берегу моря и там же маленькая гостиница. Я буду хозяйкой, мне нужно будет ездить за продуктами, а присматривать за рестораном лучше мужу.

Ошеломленный столь не по возрасту развитой рассудительностью, я произнес,– Ну, а, где же мы с мамой будем? – Ничуть не смутившись юная «буржуйка» заявила,– У мамы будет своя студия, а у тебя компьютерная на втором этаже… – и, словно оправдываясь, добавила,– Ты же понимаешь, что с хозяйством вам без меня не справиться!..

Рассмеявшись, я вынужден был согласиться – в самом деле, с хозяйством маленькой гостиницы и ресторана на берегу моря нам с мамой не справиться, мы даже с хозяйством в нашей двухкомнатной квартире справляемся через пень колоду…

Однако, откуда у пятилетней девочки такие мысли? Я, помнится мечтал быть моряком, потом летчиком, потом поэтом, но уж никак не официантом, тем более хозяином гостиницы. И вот тут я понял: ОНИ ДРУГИЕ!..

Они,– современные мальчики и девочки совершенно другие. Не стану вешать ярлыки на племя молодое, незнакомое, не стану определять хорошие они или плохие, похожие на нас или нет, по душе ли мне их прагматизм, или от него меня с души воротит – просто, нынешняя молодежь абсолютно другая. И принимать это нужно, как данность. Принимать и понимать, пусть даже тебе это не всегда нравится.

Так получилось, что среди моих знакомых, моих друзей на каком-то этапе жизни совершенно исчезли люди молодые, люди нынешнего поколения. Нет, есть, конечно, но это ребята, к которым отношусь с легкой иронией, понимая, что и они ко мне относятся с такой же иронией, как к анахронизму, как к человеку, вызывающему, пусть, уважение, но не более того, как к человеку, с которым приходится говорить на разных языках. И уже, было, совсем смирился с этим… Ну, нет, так нет, как ни будь переживем без сердечной привязанности – они сами по себе, я сам по себе. Однако пару лет назад судьба свела меня с молодым человеком, с которым захотелось завязать некие душевные отношения, потому что почувствовал – он мне интересен и, более того, что я тоже могу быть интересен ему. Зовут его Паша Веллер.

Так случилось, что свела нас работа, работа интересная и для меня необычная. Было предложено нам с ним разработать «под ключ» интернетовский WEB-сайт для некоей транспортной компании. Моей областью было визуально-графическое решение заглавной страницы, Пашиной – програмное обеспечение, размещение в сети и наладка. Из этого вы можете понять, что профессия у Паши самая, что ни на есть современная, компьютерная. Работодатель наш был большим педантом и если ко мне относился с некоторым пиететом, то Пашу «школили» неимоверно. Мне понравилось с каким достоинством, не впадая в раж и истерику, противостоял Паша его «наездам», как отстаивал и свое время, и свой авторитет, и свой заработок. Мы работали очень плотно, часов по десять в день,– сроки были жесткие. Но сидя вдвоем за компьютером, перебирая и пробуя варианты, вырабатывая концепцию общего решения и оговаривая частности, мы, конечно же, не обходили стороной и темы, что называется жизненные.

Меня удивило, что Паша с искренней заинтересованностью выслушивал все мои завиральные побасенки, искренне интересовался размышлениями на вольные темы, не относящимися к конкретной работе и, при этом, был тактичен, ненавязчив и обладал здоровым и тонким чувством юмора не только по отношению к окружающим, но и, в первую очередь, к себе. Меня удивляло его тонкое понимание литературы, театра…

Однажды он сказал,– Олег Павлович, давайте сделаем паузу дня в три. – Я удивился, при Пашиной увлеченностью работой, такое предложение не лезло ни в какие ворота. Как-то неловко пошутил, что, конечно, понимаю его, весна, девушки переоделись в мини… Он шутки не принял и серьезно объяснил,– Не в этом дело, просто хочу сбросить напряжение, походить по театрам…

Согласитесь, объяснение нестандартное… Сбрасывание напряжения, обычно, связывается с несколько иными мероприятиями, нежели походы в театры. Я стал приставать с расспросами и Паша, совсем не смущаясь, как-то очень доверительно и естественно рассказал, что, когда он устает от рутинной работы, берет тайм-аут и несколько дней взахлеб смотрит все спектакли, которые идут в Минске, что это позволяет переключить мозги на некий иной режим работы, иной способ восприятия окружающего мира и вообще, поразмышлять о вечном.

Тогда я поглядел на него с несколько иной стороны, не просто, как на умного, занятного, но все-таки – технаря. При этом Пашины объяснения я ни на йоту не воспринял, как показушные, кокетливые. К тому времени уже знал – он человек серьезный,

четко анализирующий и мир вокруг себя и свое место в этом мире.

Мне нравилось его серьезное, почтительное отношение к родителям, при котором он не скрывал, что с отцом у него есть некие сложности, которые, однако, ничуть не влияли на его почтительное отношение к старшему Веллеру. Он понимал, что у отца есть проблемы, с которыми он справляется тяжело, но – справится сам; что такое в жизни может и, скорее всего, должно быть у каждого мужчины и не следует на него из-за этого давить, навязывать свою точку зрения. О том, что в семье Веллеров это была позиция принятая и старшими по отношению к младшим и младшими по отношению к «старикам», догадывался. Паша всегда безбоязненно и с юмором говорил о своих проблемах не опасаясь того, что они будут не поняты родителями. Ну, к примеру, я уже знал, что первый, по всей видимости, скоропалительный брак Паши был неудачен, однако об этом он рассказывал так, что было понятно, эпизод этот всей семьей встречен с пониманием, а расставание молодоженов, которое обычно окружающими и близкими воспринимается с неким налетом трагизма вызвало понимание и легкую иронию.

При этом сам Паша тоже не делал из этого трагедии, хотя и не распространялся, отшучивался,– Надо было попробовать, что это такое!..

Потом наша совместная работа закончилась и судьба, что называется, развела по разным дорожкам. Мы перезванивались. Паша закончил институт, поступил на престижную работу, строил планы на стажировку в Германии, на солидной немецкой фирме. Я забыл сказать, что у Паши не было проблем с языком. Он несколько раз подолгу ездил в Германию, вначале ребенком «на оздоровление», потом, прилепившись душой к мило его принявшей немецкой семье, уже просто так, в гости. Поэтому не боялся заграницы, но и не испытывал к ней некоего ошалелого пиетета. Живут люди и живут. Кто-то лучше, кто-то хуже и вовсе это не зависит от географического места жительства. В Германии ли, в Беларуси, в Инднонезии. Стажировку в Германии Паша воспринимал, как мероприятие, позволяющее лучше и точнее стартовать в жизни, к которой он при всей его самоиронии все-таки относился очень серьезно, предпочитая все взвешивать и планировать.

Как-то Паша позвонил и сообщил, что женится. Я поздравил и не удержался, съехидничал, дело, дескать, хорошее, лично я пробовал не одиножды и каждый раз нравилось. Паша отшутился легко и светло, было ясно, что он счастлив и мое ехидство принимает с пониманием.

После этого наступила пауза в наших беседах. Дело ясное – человек женат, у него свои проблемы. Полгода назад, забарахлил мой компьютер, и я, по привычке, «брякнул» Паше в расчете на консультацию.

Голос у него был какой-то особенно радостный: «Олег Павлович! Я сейчас занят, перезвоню вам через пятнадцать минут»…

Через четверть часа позвонил: «Простите, я сына купал, никак отвлечься было нельзя!»

– Паша, дорогой, мой! Когда?

– Три недели… Я так счастлив!..

Положив трубку я вспомнил, как счастлив был сам, когда впервые купал своего сына, потом старшую, потом младшую дочь. Какое это было непередаваемое чувство, ощущать на своих ладонях маленькое, такое доверчивое тельце, слушать агуканья, делать массаж спинки, следить за мимикой, ополаскивать прохладной водичкой, кутать в пеленку, укладывать в колыбельку… Даже стирать пеленки было в радость.

Я был рад, что Паше внятно это сладкое отцовское чувство. Это нас, как-то очень сближало. Позвонил ему недавно. Следовало обсудить некий совместный «прожект». Обсуждать мои «прожекты» с Пашей просто. Он относится к ним серьезно и спокойно. Не вспыхивая, но и не иронизируя, четко расставляя акценты на объеме работы, потребном финансировании, временных затратах. Мне нравится его стиль. Он не доказывает, что ничего сделать невозможно, потому что это невозможно никогда. Просто ставит прагматическую опорную сетку, выстроив которую становится ясно, где ты недодумал, где доверился неистребимому «авось», где плохо представляешь себе трудности, которые следует решить. При этом он всегда четко разграничивает – где мой объем работы, где его, не стараясь взваливать на меня лишнее, но при этом не позволяя и себя понукать за зря.

Договорились встретиться попить кофейку и обсудить наши дела. Паша вынырнул из снежной «завирухи», как молодой Дед Мороз, весь облепленный пушистыми хлопьями. Выпили в кафешке по чашке кофе, он рассказал, что поменял работу. Я удивился – всего год назад она ему так нравилась.

– В этой фирме я своего потолка достиг! В новой – начну с того, на чем остановился в предыдущей. Открываются и новые горизонты, и новые возможности и совсем иная оплата. Там я двигался по горизонтали, здесь – предполагется движение по вертикали, вверх.

Человек, тем более молодой, тем более всего полгода, как

родивший сына, должен думать о перспективе, о профессиональном росте, о заработке – это естественно.

– А как же твои планы со стажировкой?..

– Ничего страшного, потерпим! Сейчас нам съезжать не с руки…

Потом мы ходили по магазину «Олимп» и Паша «затоваривал» вместительную сумку, забрасывая в нее порошок для стирки детских вещей, детский шампунь, всякие баночки и скляночки с детскими притираниями и мазями. Хлопоты его были умилительны, лицо при этом – серьезное. Когда ему требовалось что-то уточнить, было что-то неясно в памятной записке, написанной в дорогу женой, он доставал мобильник и консультировался с ней, воспринимая эту электронную игрушку естественно и целесообразно, как инструмент, позволяющий избегать недоразумений при коммуникациях, не более.

Делая хозяйственные закупки, Паша успевал поделиться со мною планами о приобретении квартиры, машины, поясняя, что это вещи первостепенной важности и все их домашние финансы спланированы таким образом, чтоб решить вначале эти – главные – проблемы. Одним словом, я понял, что Паша собирается жить долго, счастливо, собирается трудиться ради этого всерьез, рассчитывая на свою нынешнюю и будущую квалификацию, не собираясь никому завидовать, не собираясь никого топтать по дороге.

Зачем я рассказал вам две эти истории? Про свою дочку и про Пашу Веллера?

Для одной единственной цели – убедить вас в том, что за какие-то десять лет выросло новое поколение, которое лучше нас с вами ориентируется не только в электронной технике, но и в новых параметрах жизни, выработавшее, как-то совершенно незаметно, иные, пусть несколько невнятные нам ценности и стремительно двигающееся к цели.

Поколение, которое в первую голову будет заботиться о своем доме, своем очаге, своей семье и только потом о проблемах коренного населения Занзибара. При этом рассчитывать будет только на себя на свои силы, свое умение, свою любовь. Не попрошайничая, не скуля, не обижаясь ни на кого, ни у кого ничего не отбирая.

Обустроив, как следует, свой дом, надеюсь, они будут знать и, как обустроить государство. Должен сказать – мне это поколение нравится!